

В. В. Врангель.

**Петербургские
труды**

Петербургские трущобы

Всеволод Крестовский

Петербургские трущобы. Том 2

«Public Domain»

1864-1867

Крестовский В. В.

Петербургские трущобы. Том 2 / В. В. Крестовский — «Public Domain», 1864-1867 — (Петербургские трущобы)

Роман русского писателя В.В.Крестовского (1840 – 1895) – остросоциальный и вместе с тем – исторический. Автор одним из первых русских писателей обратился к уголовной почве, дну, и необыкновенно ярко, с беспощадным социальным анализом показал это дно в самых разных его проявлениях, в том числе и в связи его с «верхами» тогдашнего общества.

© Крестовский В. В., 1864-1867

© Public Domain, 1864-1867

Содержание

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ	5
LIX	5
LX	8
LXI	10
LXII	16
LXIII	19
LXIV	22
LXV	25
LXVI	28
LXVII	30
LXVIII	34
LXIX	36
LXX	45
LXXI	48
LXXII	53
LXXIII	56
LXXIV	60
ЧАСТЬ ПЯТАЯ	66
I	66
II	72
III	78
IV	82
V	85
VI	94
VII	98
VIII	105
IX	116
X	121
Конец ознакомительного фрагмента.	123

Всеволод Владимирович Крестовский
Петербургские трущобы
Книга о сытых и голодных
Роман в шести частях
Том 2

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ЗАКЛЮЧЕННИКИ

LIX
ХЛЫСТОВКА-СЛАДКОЕДУШКА³⁴⁸

К Митрофаниевскому кладбищу с некоторых сторон прилегают обширные огороды, за которыми далеко пойдет уже поле да кое-где мелкий кустарник. Местность вообще смотрит каким-то голым пустырем и отличается вечным безлюдьем. Изредка разве пройдет там какая-нибудь «капорка-огородница», или сермяга прошагает, да проскрипит телега, нагруженная огородным навозом либо овощью, – и только.

Среди этих огородов уединенно стоят, на далеком расстоянии, две-три избы, которые смотрят чем-то покинутым, пустынным, нежилым. Кажется, как будто они заброшены тут людьми на спокойное разрушение.

В одной из них, отличавшейся тем, что стены ее были, аршина на полтора, со всех сторон весьма плотно окопаны землею, почти никогда не было заметно движения и жизни. Вечером вам не мигнул бы в глаза огонек в ее оконцах; днем вы не отыскали бы около нее живого человека, и только один дымок, вылетающий порой из трубы, заставлял предполагать, что там внутри копошатся какие-то обитатели.

И точно: каждый день на рассвете ползучею, дряхлой походкою медленно выходил из дверей согбенный старец в длинной белой рубахе ниже колен, крестился на восток, отдавая в то же время по поклону на все четыре стороны света, и затем, отворив ставеньки, удалялся во внутрь избы, чтобы точно таким же порядком снова появиться под вечер, когда посумерничает в избе и в воздухе, и затворить ставни до нового рассвета.

Порою появлялась около избы и какая-то пожилая женщина в черном. Справляла она кой-какую хозяйственную работу и, покончив дело, тотчас же удалялась в свою нору.

И эти внешние проявления какой-то таинственной уединенной жизни, среди огородных пустырей, не подвергались ничьим наблюдениям, по той простой причине, что наблюдать там решительно некому.

* * *

В этой избе только и было двое обитателей: Паисий Логиныч – согбенный старец, с маленьким сухощавым лицом, словно бы оно было вылитое из желтовато-белого воску, и с боль-

³⁴⁸ Последователи хлыстовской секты (жарг.).

шой лысиной, которую обрамляли длинные серебряные и мягкие как шелк волосы, неволнисто падавшие ему на узкие, иссохшие плечи. Одетый в свою обычную длинную и белую рубаху, он напоминал собою скорей катакомбного христианина первых веков, чем человека, принадлежащего нашему времени, и это характерное сходство усиливали в нем его старчески светло-голубые и как бы водянисто-выцветшие глаза бесконечно кроткого, почти детского выражения. Паисию Логинычу шел уже чуть ли не девятый десяток, и, однако, для этих лет, он был еще довольно бодр и телом, и духом.

Сообитательница его звалась Устиньей Самсоновной. Это была женщина лет гораздо за сорок, постная, строгая – таковою по крайней мере представлялась она по внешности, с первого взгляда. Сутуловато-высокая, сухощавая и вечно одетая в черное, с головною повязкой черного же цвета, как обыкновенно носят женщины хлыстовской секты, она казалась более монахиней, чем миряночкой. Оба они – и старец Паисий, и матушка Устинья – принадлежали к таинственно-темному религиозному согласию, которое известно в народе под именем «хлыстовщины», и оба играли довольно важные роли в местном, петербургском «корабле» этой секты.

Никогда никто не слышал от Устиньи Самсоновны блажного, пустычного слова, сказанного зря и на ветер, даже улыбалась она редко; но никогда не случалось с ней и того, чтобы облаять или оборвать человека ни за что, ни про что. Отношения ее с людьми, которых почитала она своими да божьими, то есть близкими к секте, постоянно отличались сановитой радушностью; с посторонними же, особенно с сынами антихристовыми, она была весьма чутко и осторожно сдержанна и никогда не обмолвливалась лишним, не взвешенным словом.

Устинья Самсоновна хотя и была баба фанатически придурковатая, однако знала себе цену и поэтому пользовалась в «согласии» величайшим уважением: ее постоянно не иначе называли, как «матушкой» и даже «пророчицей». И точно: для местного хлыстовского согласия – как мы уже сказали – она являлась необыкновенно важной и необходимой особой, потому что, живя среди пустынной местности, держала у себя тайную молельню.

Хотя «верховный гость» Данило Филиппович, явившись на землю, побросал все свои книги, за ненужностью, в Волгу и установил – не иметь книжного научения, а ходить по его преданию и по вдохновениям пророков, однако Устинья Самсоновна была великая начетчица и держала у себя старопечатные книги и кой-какие рукописания некоторых посторонних сект: она любила узнавать, какие иные веры есть на свете и, зная догматы этих иных вер, очень успешно могла диспутировать в пользу веры хлыстовской. Сама она в былое время жила келейницей в скиту у филиппонов, в Ярославской губернии, где и произошла всю книжную премудрость; но потом, ища всем хотением и помышлением своим – которая вера правая? – после долгих шатаний во тьме кромешной, познала наконец веру хлыстовскую и перешла в нее. Это была женщина «искавшая и обретшая», – женщина, вполне искренно убежденная в избранном догмате и крепко стоявшая «на правиле» хлыстовском. Во время своей девической келейной жизни ей пришлось много и много, во всю широкую вольную волю предаваться любовным страстям, греху и соблазну, так что сама натура ее запросила и заалкала наконец иной жизни – более строгой, суровой и постнической.

И тут-то новым наставником ее явился старец Паисий Логинович, из «братьев-богомоллов», который вразумил ее, что все прочие согласия поступают от писания, но не от духа божия, тогда как двенадцатая заповедь верховного гостя Данилы Филипповича гласит: «Святому духу верьте». И очень по душе Устинье Самсоновне пришлось пятая да шестая заповеди, в коих божьим людям дому Израилева говорится: «Хмельного не пейте и плотского греха не творите. Не женимые не женитесь, а женимые разженитесь, и с женою как с сестрою живите». Прежняя бурная жизнь опротивела ей вдосталь, так что она, лишь бы покончить со своим прошлым, всею душой прилепились к вере хлыстовской; взяла свой скопленный капиталец и вместе с наставником, Паисием Логинычем, направилась во мрашиное гнездо северного Вавилона – с

тем, чтобы спасти и соединить вкуче божьих людей, своих «братцев и сестер по духу». И среди этого Вавилона антихристового, – где застаёт ее в данную минуту читатель, – Устинья Самсоновна пребывала уже по день своей смерти; а под конец жизни своей суждено было попытать еще одну, новую веру, отчего и пала тайно содержащаяся ею хлыстовская молельня. Но читателю придется еще короче познакомиться с жизнью и деятельностью по вере этой замечательной женщины, и потому теперь мы оставляем ее, ограничиваясь пока теми краткими сведениями, которые только что сообщили.

LX НЕЧТО О ХЛЫСТАХ

Многочисленная тайная секта хлыстов всегда оставалась, да чуть ли и по сей день еще не остается, чем-то странным и загадочным для нашего официального мира. Основанная еще при царе Алексее Михайловиче, она постоянно стремилась захватывать в недра свои людей всех классов и сословий, не ограничиваясь, подобно прочим, одним только крестьянством да купечеством. В 1734 году Анна Иоанновна издала указ, из которого ясно можно заметить, что в то уже время хлыстовская секта начинала сильно тревожить этот официальный мир своим необычайно быстрым развитием. «Разного звания духовных и светских чинов люди обоюбого пола, – писалось в этом указе, – князья и княгини, бояре и боярыни и другие разных чинов помещики и помещицы, архимандриты и настоятели монастырей, а также и целые монастыри обоюбого пола, как например Ивановский и Девиный в Москве, все это сполна принадлежало к хлыстовской секте, все это составляло „согласие“ божиих людей, поклоняющихся богу живому».

Поповщинские и беспоповщинские согласия, по преимуществу, тяготеют к Москве; веры же «божьих людей», то есть хлысты со скопцами облюбили Петербург, хотя первым и Москва тоже «многолюбезна». Но облюбили они этот «Питер-град», вероятно, на том основании, что хлыстовское согласие составляет как бы переходную ступень к более совершенной вере «божьих людей», к согласию скопческому, у которого все симпатии – в Петербурге. Можно сказать почти с достоверностью, что скопчество естественным путем истекло из хлыстовщины в прошлом веке. Однако, несмотря на эту более совершенную веру, несмотря на то, что скопцы давно уже помышляли о слитии своих кораблей с кораблями хлыстовскими, эти последние продолжают жить вполне самостоятельной жизнью. Прошло более восьмидесяти лет со времени указа Анны Ивановны, а хлыстовские общины растут и крепнут, приобрели все новых adeptов, так что в 1817 году Михайловский замок в Петербурге сделался одним из важнейших сектаторских пунктов. Там, в квартире полковницы баронессы Б., устроилось тогда постоянное молитвенное сборище сектантов, между которыми было очень много гвардейских офицеров. Душою и чуть ли не «богиней» этого дела явилась женщина энергическая, как говорят, весьма умная, стойкая характером и сильная фанатичка. Это была некто подполковница Т. Как Б., так и Т., принадлежали к очень известным, даже отчасти аристократическим фамилиям. Никакие официальные раскрытия сборищ, никакие официальные внушения не могли остановить стремлений этой пропагандистки, и в 1838 году ее снова накрывают и схватывают вместе со всем согласием, находившимся в сборе в одном уединенном доме близ Московской заставы. Но тут для захвативших вышел скандал неожиданный: кроме лиц, участвовавших в собраниях семнадцатого года, здесь было значительное число новых. Там были гвардейские офицеры, здесь – действительные статские и даже тайные советники, между коими особенно выдавался известный П.А., в это же самое время богатый русский барин, многоземельный помещик разных губерний, отставной подполковник Д., является вдруг самым ревностным пропагандистом хлыстовщины, становится апостолом, наставником и соединяет в своей пространной аудитории крестьян и дворян, мужчин и женщин, православных русских и лютеран-немцев. Таким образом, пропаганда не умирает – и в 1849 году опять открываются общества хлыстов, которых называли на сей раз адамистами; и тут опять-таки те же самые лица, которые участвовали в сборищах баронессы Б. и подполковницы Т., а между ними были особы весьма даже значительные, так что по поводу некоторых особенных обстоятельств дело о раскрытии тайного общества адамистов более не продолжалось.

Но трудно было официальному миру проникать «во внутренняя» этих собраний, в самый смысл загадочного для него учения, потому, во-первых, что заповедь хлыстовская воспрещает иметь что-либо «писаное» относительно догматов согласия, живущего одним только уст-

ным преданием и вдохновением; а во-вторых, потому, что каждый прозелит, после долгих и трудных испытаний, но прежде совершения при нем каких-либо обрядов, клянется присягою «соблюдать тайну о том, что увидит и услышит в собраниях, не жалея себя, не страшась ни кнута, ни огня, ни меча, ни всякого насилия». Принцип секты – духовное единение и братская любовь – соединяет в одну молельню лиц, несоединенных ни на каких ступенях общественной лестницы. «Болярин», например, в православной церкви *de facto*³⁴⁹ все-таки остается «болярином», а здесь он только «брат», и больше ничего; поэтому-то вместе с тайными советниками, генералами, полковниками, князьями, купцами и помещиками в одной и той же молельне собирались воедино лакеи и служанки, кучера и дворники, солдаты и крепостные. Всех этих людей соединяла вера в грядущего пророка, в торжество своего учения и надежда на лучшее будущее.

* * *

Этою-то сектою – или, лучше сказать, собственно местом сборища ее – задумала воспользоваться для собственных и совсем особенных целей одна петербургская компания, которую составляли все лица, уже знакомые читателю. Это были: доктор генеральши фон Шпильце – Катцель, интимный друг княгини Шадурской Владислав Карозич (он же и Бодлевский), Серж Ковров и загадочный венгерский граф Николай Каллаш. Но для того, чтобы читатель уяснил себе, какие были цели названной компании и каким образом она воспользовалась хлыстовским тайным приютом, мы необходимо должны будем вернуться несколько назад и отчасти начать дело, что называется *ab ovo*³⁵⁰.

³⁴⁹ Фактически (лат.).

³⁵⁰ Буквально: от яйца (лат.).

LXI ЧУДНОЙ ГОСТЬ

За год до последних событий нашего рассказа, по разным темным притонам Сенной площади начал время от времени показываться новый и несколько странный посетитель. Темный люд не мог не обратить на него некоторого внимания и отчасти заинтересовался этой личностью, которая была вполне загадочна, ибо появлялась постоянно одна, без товарищей, и внешностью своею нимало не походила на привычных обитателей сенных трущоб, а, напротив того, сильно смахивала на хорошего, благовоспитанного барина. Нельзя было предположить в этом посетителе полицейского агента, ибо темным людям очень хорошо известно, что наши тайные полицейские агенты никогда не появляются среди трущоб «в таких видах», а прикидываются обыкновенно либо солдатами, либо мужичонками, либо лакейшками и тому подобным народом, а тут перед тобой сидит «барин», который нимало и не думает скрывать, что он «барин», да опять же не было слышно, чтобы кто-либо попался по делу, раскрытие которого, по каким-либо соображениям, можно бы было хотя отчасти приписать загадочному посетителю.

Это был высокий, стройный мужчина, с матово-бледным и отчасти истомленно-красивым лицом, который казался на вид молодым человеком. Появление его в среде подпольного мира постоянно вызывало общее любопытство и приковывало к нему много внимательно наблюдающих взоров; но он как будто не замечал ни этого любопытства, ни этих наблюдений и всегда приходил одетый в весьма изящный костюм, обличавший в кем более чем достаточного человека. Молчаливо и скромно усевшись за какой-нибудь уединенный столик, он спокойно вынимал золотой портсигар, закуривал свою гаванну и спрашивал себе стакан водки или бутылку пива. Посидев около часу, загадочный посетитель взглядывал на свои дорогие часы и подзывал полового, чтобы расплатиться. При этом он нимало не стеснялся вынимать бумажник, в котором покоились весьма крупные кредитные билеты. Однажды половой не мог дать ему сдачи с пятидесятирублевой бумажки.

– Ну, пусть за вами будет: потом сочтемся, – спокойно отвечал ему молодой человек, и этот ответ заметно произвел впечатление на любопытных наблюдателей.

Посидев немного в одной трущобе, он удалялся в другую, из другой – в третью, а дня через три-четыре снова появлялся в первой. В Париже или в Брюсселе его непременно приняли бы за эксцентрика-англичанина, ищущего приключений, но наш трущобный люд об «англичанах» имеет весьма слабое понятие, а об эксцентризме – ни малейшего, потому решительно недоумевал, за какую птицу надлежит ему принимать «чудного гостя».

Голодная трущобная женщина вообще оказалась предприимчивее относительно этого чудного гостя. Иные из них подседали было к его столику и пробовали заговаривать с ним. Дело начиналось обыкновенно с того, что женщина просила угостить ее.

– Чего же ты хочешь? – спрашивал ее молодой человек, не изменяя тому спокойному выражению своего лица, которое никогда не выдавало его сокровенных дум и ощущений.

– Да мне бы сперва поесть чего, – отвечала голодная, чувствуя какое-то смущение от того, что вот посторонний человек видит теперь ее нищенский голод.

И он точно видел его.

– Может быть, и твои приятельницы тоже хотят?.. Пригласи и их. Спросите там себе, чего хотите.

И все почти наличные женщины, воспользовавшись предложением, немедленно, как голодная стая собак, спешили накинуться на всякую пищу. Одна в нетерпении рвала кусок у другой; другая торопилась поскорее залпом выпить спрошенную за буфетом посудину водки; третья выхватывала от нее эту посудину; четвертая с жадностью накидывалась на пироги и селедки, выставленные за буфетом, и в довершение всего подымался крик, перемешанный с

крупной руганью; иногда женщины эти в цепки бросались друг с дружкой, дело доходило до драки. Но странный посетитель относился ко всему происходящему перед его глазами совершенно безучастно, как будто даже ничего не замечая, и в заключение только расплачивался по счету, поданному за буфетом.

– Зачем вы к нам ходите? – спрашивала его порою какая-нибудь женщина. – Вы такой богатый барин и ходите в экую мерзость? Зачем это?

– Затем, что мне так нравится, – отвечал загадочный посетитель, и более сказанного – ни полуслова не прибавлял в пояснение своих поступков, которые как будто постоянно клонились к тому, чтобы только дразнить хорошею приманкою воров и мошенников, чтобы вызвать с их стороны какое-нибудь нападение.

И вскоре подобное приключение, действительно, последовало с загадочным посетителем.

Фомка-блаженный вместе с Осипом Гречкой (дело было месяца за два до ареста последнего по делу Морденки) не на шутку прельстились хорошей поживой, какая могла бы приплыть в их руки, если бы удалось ограбить чудного гостя. Задумываться над подобным делом было, конечно, не в характере обоих приятелей, и потому, улучив однажды минуту, когда он поздней ночью вышел из одного притона, в Таировом переулке, Шомушка накинул ему сзади на голову большой платок, снятый перед этим с трущобной женщины, а Гречка спереди ухватил его за ворот. Но едва успел он сделать это движение, как удар наотмашь повалил его наземь. Чудной гость бил рукою, вооруженною стальным инструментом, известным под поэтическим названием *sortie de bal*³⁵¹, который постоянно хранился в его кармане, и в этом же кармане постоянно обреталась правая рука чудного гостя, при входе и выходе из трущоб Сенной площади. Гречка никак не ожидал такого приема, а сила удара была столь велика, что он без чувств покатился на мостовую. Менее чем в одну секунду чудной гость сорвал с головы платок и в свою очередь схватил за горло Фомушку.

– Караул! – прохрипел задыхаясь, блаженный.

– Молчи, любезный, сейчас отпущу, – спокойно промолвил давивший и, сжав еще раз настолько, чтобы сразу ослабить грабителя, отнял от его шеи свою сильную руку.

Тот было ударился бежать, но чудной гость на первом же шагу опять схватил его за горло.

– Нет, мой друг, стой: бежать тебе от меня некуда да и незачем, а если побежишь или закричишь – сейчас же положу на месте.

Молодой человек был очень силен; хотя Фомушка, не говоря уже о Гречке, быть может, был и гораздо посильнее его, так что справиться с чудным гостем для него не считалось бы особенно мудрою задачею, но он безусловно покорился теперь его воле, потому, во-первых, что перед ним замертво лежал уже на земле его товарищ, а, во-вторых, это спокойствие, решимость и находчивость молодого человека в столь критическую минуту и наконец эти загадочные появления и поступки его в трущобном мире – в глазах блаженного невольно окружили теперь его личность каким-то внушающим почтительность ореолом. Недаром же он у них и «чудным гостем» прозывался. «Черт его знает, может, это такая силища, что и десятерых на месте пришибет», – мелькнуло в ту же минуту в глазах блаженного, и он вполне покорно и безмолвно стал перед своим сокрушителем.

– Вы меня ограбить хотели? – спокойно и незлобно спросил он.

– Есть, ваша милость!.. Есть грех наш перед вами! – раскаянно поклонился Фомушка.

– Вам нужны деньги?.. Сколько вы хотите?

– Ничего не хотим, милостивец, отпусти только! Ничего не желаем, – прости ты нас!

– Бог простит, а я не сержусь, только ответь же мне, сколько тебе нужно денег? Я дам, не бойся.

Фомушка задумчиво почесал за ухом и, униженно ухмыляясь, промолвил:

³⁵¹ Женская вечерняя (бальная) накидка (фр.).

– Сколько милость ваша будет.

– Ну, да сколько же, однако? – настаивал меж тем молодой человек.

– Да сколько пожалуете... Вечно бога молить за вас буду...

И молодой человек подал изумленному Фомушке свой толстый бумажник.

– Да вы шутить изволите, ваша милость, – недоверчиво пробормотал блаженный, порываясь и не смея коснуться предлагаемого бумажника.

– Зачем шутить?.. Нисколько не шучу. Ведь если ты грабишь, стало быть, тебе нужны деньги, – не так ли?

– Нужны-то нужны, ваше... Уж как и назвать-то, не знаю... сиятельство, что ли?

– Это все равно, как ни зови. Ты, пожалуйста, без чинов, а говори попроще и покороче: нужно тебе?

– Так точно, ваша милость!

– А нужно, так и бери!

И оставя в руках блаженного бумажник, молодой человек отвернулся и тихо прошелся в сторону.

Фомушка меж тем, совсем не зная что и подумать обо всем происходящем, вынул трепетной рукой пачку банковых билетов и раздумчиво, под влиянием какого-то чувства совестливости, взял только одну двадцатипятирублевку.

– Ну, кончил, что ли? – спросил тот приближаясь.

– Кончил, ваша милость! – И Фомушка почтительно подал ему бумажник, который тот, даже не заглянув в него, небрежно сунул в свой карман и взял блаженного за руку.

– Теперь ступай за мною, – сказал он, направляясь к Садовой улице.

– Отпустите, ваше сиятельство!.. Ни денег ваших, ничего мне не надо!.. Простите, Христа-ради! – взмолился Фомушка, упираясь на месте.

– Чего ты, дурак?! – остановился чудной гость. – Чего ты?! Не бойся, в полицию не поведу тебя и дурного ничего не сделаю.

– Да куда ж вы меня тащите?

– К себе на квартиру – ты нужен мне. Понимаешь ли? Нужен!

– Да нет, вы верно по начальству желаете...

– Зачем по начальству, если я мог просто на месте – взять да убить тебя?.. Ступай, зла тебе никакого не будет, – порешил он и снова потащил его за руку.

Фомушка не противоречил более, решась покорно идти с ним и только недоумевая, что из этого выйдет. Он оглянулся назад, на Гречку, но тот уже поднялся и, прихрамывая, поволок свои ноги в противную сторону.

У одного из подъездов на Садовой улице ожидала барская карета. Молодой человек втолкнул в нее Фомушку, и сам сел подле. Приехали к небольшому каменному домику щегольской наружности. Сонный дворник при виде кареты поспешно дернул за ручку звонка, и в ту же минуту с лестницы сбежал лакей со свечью. Дворник снял шапку, лакей почтительно поклонился, когда молодой человек проходил мимо. Фомушка не понимал, ни где он, ни с кем он, и еще пуще пришел в изумление, когда очутился с глазу на глаз «с чудным гостем» в его роскошно отделанном кабинете. «Коего дьявола нужно ему от меня? – подумалось в это время блаженному. – Ведь коль нашим рассказать – не поверят, черти, ей-ей не поверят!»

– Хочешь есть или пить? – спросил его молодой человек. – Ты не церемонься, хочешь, так и говори: хочу, мол.

– Ежели, теперича, такая милость ваша есть... можно и насчет напитку...

– Вина или водки?

– Нам, по простоте, ваше сиятельство, нам эдак водочки бы...

Хозяин распорядился, и человек принес на серебряном подносе муравленный кувшинчик и две золотые чарки.

Фомушка выпил и вскочил с места: у него рот загло и глаза выпучило от крепости поданного напитка.

– Сроду не пивал, а пьяница, кажись, добрый! – пробормотал он, крякнув и отряхиваясь головою.

– Ну, теперь давай о деле потолкуем, – начал хозяин, снова оставшись один на один с блаженным. – Тебя как звать-то? По виду – не то на церковника, не то на нищего смахиваешь?

– От святые церкви, во святом крещении Фомою наречен, ваше сиятельство, а мирские людишки – блаженным прозывают, – ответил Фомушка, – и как я теперича в странном житии подвизаюсь...

– Нечего сказать, хорошее житие! – усмехнулся молодой человек.

– Что ж, ваша милость, такая уж линия, значит, прописана – надо полагать – по-небесному.

– А если эта линия по-земному да доведет тебя до Сибири?

– А что ж такое? Не столь страшен черт, как его малюют, как говорится.

– Ну, а как ты полагаешь, если уж идти в каторгу, то как лучше идти: за безделицу ли, али уж за такую штуку, которую не всякий и выдумать сможет?

– Уж всеконечное дело, ваше сиятельство, за плевков не стоит и конфуз принимать на спину да на лик-то свой, потому, все же он, лик-то этот, человеческий, по писанию – образ есть и подобие божие. А за важнец-дело пропадать не в пример вольготнее, по крайности знаешь за что.

– Это так, это ты разумно рассуждаешь, – одобрительно заметил ему хозяин. – Но ведь тебе, поди-ка, не особенно хорошо на свете жить?

– Нешто, ваше сиятельство, валандаемся по малости.

– А ежели бы тебе предложили жить барином, в полное свое удовольствие, дали бы квартиру хорошую, да хозяйку красивую, да в купцы записали, да рысака на конюшню поставили бы, да денег полон карман – согласился бы ты на такое житье?

– Коли б то не согласился! – облизнулся Фомушка, широко улыбаясь. – Помирать не надо. Да где его добудешь, этого счастья-то!

– Уж это не твоя забота. И ежели бы в расплату за такое житье пришлось потом по Владимирке прогуляться – тоже не прочь бы?

– А зачем прочь? Ведь все едино и без того рано ль, поздно ль достукаешься.

– Резон, мой милый, совершенный резон! А слышал ты, есть хохлацкая пословица: питы – вмерты, и не питы – вмерты, так лучше вже питы и вмерты. Понимаешь?

– Как не понять, ваше сиятельство! Это уж вестимое дело, что коли пропадать, так знал бы по крайности, что было, мол, вкрасне пожито, широким ковшом попито, да в алием бархате похожено.

– Ну, стало быть, теперь можно и к самой сути приступить! – решительно поднялся с места хозяин.

– Слыхал ты, – начал он, близко подойдя к Фомушке и в упор глядя в его глаза, – слышал ты, что есть на свете фальшивые деньги?

– Коли не слышать! И слышал и видывал даже, да все же ее от настоящей отличить-то можно.

– Можно оттого, что дураки этим делом занимаются, подделать хорошо не умеют, а вот я покажу тебе сейчас две синенькие, отличи, которая из них с фальшью?

И молодой человек, вынув из бюро две пятирублевки, подал их Фомушке и подвинул к нему лампу.

– Шутки шутить изволите, ваше сиятельство! – недоверчиво ухмыльнулся блаженный, внимательно разглядывая бумажки. – Как есть одни только шутки, и больше ничего! Обе они настоящие.

- Нет, одна фальшивая, говорю тебе, а ты вот угадай-ка мне которая!
- Эта, что ли? – неуверенно спросил Фомушка, подавая ему ассигнацию, которую молодой человек внимательно разглядел у лампы.
- Нет, любезный, ошибся: эта настоящая, – улыбнулся он, – а та вот – подделка. Фомушка только головой покачал от удивления.
- Это за границей, в Лондоне, у англичан сработано, – пояснил ему хозяин, – я одну только и захватил для примера.
- Ссс... Ишь ты! – удивился блаженный. – Правильно, значит, говорят, что там народ-то – все ученый мазурик... Нашему брату не потягаться с ними. Наш брат все больше на чистоту ломит, да на простоту норовит.
- Вот то-то же и есть! А как ты думаешь, хорошо бы и у нас в Петербурге завести такую фабрику?
- Еще бы нехорошо! Известное дело...
- И ты бы не отказался работать для такого дела?
- Я-то?.. Э, я хоть что хошь! Я это все могу, значит.
- А можешь, так делай, в накладе не останешься.
- Да как же это делать-то, ваше сиятельство?
- Как делать? Руками! Руками, любезный мой! Как и все на свете делается – руками да башкой, только в этом деле, все равно как на заводе, всякому работнику своя должность дана. Так вот и ты свою должность получишь.
- А моя какая будет?
- На первый раз вот такая, – приступил хозяин к объяснению: – Прежде всего надо за городом, где-нибудь в пустом, уединенном месте отыскать подходящий домик или избу, чтобы лишние глаза не глядели.
- Смекается, ваше сиятельство!.. Это – могим! Есть подходящее на примете.
- А есть – и того лучше! Ну, потом ты подыщешь надежных товарищей, – продолжал чудной гость, – чтобы верные да честные люди были.
- И это, значит, могим! – охотно согласился Фомка.
- А затем, время от времени, тебе будут выдаваться на руки деньги, а ты вместе с товарищами пускай их в оборот – покупайте себе что знаете и меняйте фальшь на настоящие деньги. Ты будешь отбирать от них и ко мне приносить, а я вам жалованье хорошее стану платить за это. Только кроме тебя из них ни одна душа не должна знать – как, что и кто, и откуда идет все это. Согласен?
- Согласен, ваше сиятельство! – решительно и весело откликнулся блаженный.
- Хозяин для поощрения на первый раз дал ему еще одну двадцатипятирублевку и приказал приступить, без лишних проволочек, к отысканию за городом помещения, которое вполне соответствовало бы необходимым условиям.
- А ежели отыщешь, приходи прямо ко мне сюда вот, – распорядился он в заключение. – Будешь допущен ко мне беспрепятственно.
- Затем позвонил человека и приказал ему проводить с лестницы блаженного.
- На дворе уже рассвело настолько, что Фомушка мимоходом хотел бы прочесть фамилию на дверной доске, но таковой не оказалось.
- Как барина зовут-то? – спросил он у лакея.
- *Va tu, coquin*³⁵², – с презрительным неудовольствием фыркнул на него сквозь зубы француз-лакей.
- Ишь ты, настранный поданный, значит, – пробормотал Фомка под нос, и у ворот обратился с тем же вопросом к дворнику.

³⁵² Убирайся прочь, мошенник! (фр.)

- Барин-то? Известное дело, барина барином и зовут.
- А фамилья ему как?
- Граф Каллаш, – отвечал тот, завертываясь в зипунишко.
- Один живет, что ли?
- Один, цельный дом занимает. Барин хороший, как есть на всю статью, значит, барин. Блаженный удовольствовался этим объяснением и пошел своей дорогой.

«Ишь ты, химик какой!.. Граф!.. Шутка ль сказать теперича – граф! – размышлял он, подавляемый чувством безмерного удивления ко всему, что произошло с ним в эту ночь. – Живет-то как!.. А тоже, значит, нашево поля ягода... И из князьев-графов, стало быть, тоже жоржи бывают... А дело клейкое! – размышлял он далее. – И за таким человеком, как за каменной стеною, не пропадешь... И надо, значит, послужить ему, потому – эта служба для своего же кармана».

LXII

ФОМУШКА – ДЕЯТЕЛЬ БАНКА ТЕМНЫХ БУМАЖЕК

Бывалый человек Фомушка знал, как свои пять пальцев, всю подноготную многообразных трущоб петербургских – само собою не тех, в которых действующими лицами являются жоржи высшего полета, с многообразными образцами коих уже достаточно познакомлен читатель, но те трущобы, где прячется темный люд, подобный самому Фомушке. Пораскинув умом-разумом, он остановил свой выбор на глухой местности за Митрофаниевским кладбищем, где одиноко торчала огородная изба Устиньи Самсоновны. Блаженный очень хорошо знал все удобства этого помещения, ибо на своем многостатальном и проидошном веку чего-чего только ни доводилось ему переживать и переиспытывать! Сын деревенского дьячка, поступил он в семинарию, откуда был изгнан в качестве нечестивого козлика; затем удалось ему подладиться к настоятелю некоей пустыни и втереться туда послушником; но, за добрые дела, из этого убежища мирских отшельников он попал уже непосредственно на Владимирскую дорогу, которая и довела своего избранника прямехонько до завода Нерчинского. Там судьба столкнула его с архиереем раскольничьим, и, насобачившись около него в делах старой веры, Фома не преминул при первой же оказии улизнуть из каторги. Наслышан он был много о разных столпах раскола и знал почти всех их заочно, так что из Нерчинского завода очутился в Федосеевском скиту, а оттуда, уже с хорошим фальшивым видом, в качестве торговца пошел махать по широкой Руси да по разным молельням архиерейские службы править. Но душа у Фомушки чересчур уж была златолюбива и многостыжательна; захотелось этой душе побольше денег позагребать в свои лапы, и стал он поэтому к разным согласиям примазываться. В Сибири – то с федосеевцами, то с хлыстами водился, в Саратовской губернии – с молоканами, в Нижегородской – с филиппонами, в Ярославской – у бегунов-сопелковцев важным наставником сделался; а в Костромском уезде снова с хлыстами сошелся и объявил себя пророком боговдохновенным. Затем около года провитал в странно-архиерейском образе в слободах и посадах Черниговской губернии, пока наконец раскольники не провели его бесчинные по вере поступки и пока не огласили его посланием, яко хищного волка в стаде Христове и вора-обманщика. Тогда-то уже он и принял юродственный образ, нарек себя Фомушкой-блаженным, сошелся с Макридой-странницей да с Касьянчиком-старчиком и утвердился в Питере, сохранив, из всех прежних своих сектантских связей, некоторые отношения только к хлыстовскому согласию, в силу прежнего знакомства своего с матушкой Устиньей Самсоновной. Однако здесь он избегал близких и тесных сношений с петербургским согласием, потому что пятая заповедь верховного гостя Данилы Филипповича гласит: «Хмельного не пейте и плотского греха не творите», – изгоняя вместе с тем безусловно курение поганого зелия, еже от нечестивых галлов и сарацын табаком нарицается, да и на употребление мяса хлыстовский закон смотрит не совсем благосклонно, и члены согласия строго наблюдают, чтобы «братья и сестры» неукоснительно и вполне следовали правилам, завещанным от верховного гостя. Фомушка же по природе своей был чревоугодник. «Как ни тщусь, а воздержаться не измогу, чтобы диавола не потешить и мамону не угобзить зело!» – говаривал он в покаянные минуты. Поэтому он предпочитал жить в довольно прибыльном образе юродивого и обращался к согласию только в редких и совсем экстраординарных обстоятельствах. Фомушка знал, что изба Устиньи Самсоновны, служащая в качестве молельни местом сборища и «радений» сектантов, устроена с различными тайниками, даже с теплым и жилым подъизбищем, вырытым в земле, в качестве будто бы подвала для хранения на зиму огородных овощей, но собственно играющим роль молельни; а зная все это, ему не трудно было сообразить, что эта изба во всех отношениях может служить удобным и, главное, потайным приютом для дела, проектируемого графом Каллашам.

Хотя граф Каллаш, живя на барскую ногу, и нанимал совершенно особый дом, как нельзя лучше приуроченный для комфортабельной жизни одного только семейства, однако ни он, ни прочие сочлены задуманного предприятия не рискнули завести фабрику в своих квартирах, среди людного города, где на каждом шагу могут, совсем непредвиденно, подглядеть что-либо посторонние взоры. Почтенные сочлены слишком дорожили своим спокойствием и своей репутацией, поэтому в проект банка темных бумажек непременно условием входил тот пункт, чтобы приуроченные ассигнации отнюдь и никогда не пускать в обращение собственными руками, а вести это дело через надежных темных людишек, которые если и попадутся, то не беда. Одно только затрудняло компаньонов – это именно выбор подходящего места. Граф Каллаш тщетно ездил по разным окрестностям, высматривал загородные дома и дачи, но все это оказывалось мало удобным: чужие глаза и здесь-таки были, могли, стало быть, видеть, что вот, мол, в известные дни и часы на такую-то дачу собираются какие-то люди, сидят там запершись, что-то делают, потом уезжают. Все это могло возбудить излишнее любопытство, всегда, как известно, подмывающее человека удовлетворить его более или менее положительным образом; а вслед за таким удовлетворением могут пойти бог весть какие сомнительные толки, особенно же если в это самое время начнут чаще обыкновенного попадаться в обращении фальшивые кредитки. И вот все такие соображения поневоле заставляли компанию бесплодно проволочивать золотое время. Наконец графу Каллашу надоели эти тщетные искания и высматривания, так что он, уже сам по себе, не предваряя остальных сочленов, решился попытать счастья в ином направлении. Следствием такого намерения были его посещения трущоб Сенной площади. Энергически-решительный, самоуверенно-сильный и предприимчивый человек не задумался на риске стать, как он есть, лицом к лицу с этим мало кому известным подпольным миром. Он решился на это тем более, что рано ли, поздно ли, компании необходимо предстояло запастись надежными людьми для размена и сбыта будущих фальшивых бумажек. «Попримечу к этому народу, – думал граф, намереваясь приводить в исполнение свою новую мысль, – попытаю его, да и выберу одного или двух головорезов, которые не призадумались бы рискнуть на такое дело, да на которых бы положиться можно было, а таких молодцов, вероятно, только там и поискать-то, да авось, с этим народом и помещение скорее найдется, потому – кому же, как не им и знать про такие. И после двухнедельных посещений различных притонов, в которых Каллаш умышленно делал все, чтобы только вызвать против себя грабительское нападение, искания его увенчались успехом, уже достаточно известным читателю. Он расчел, что одного такого дошлого „барина“ как Фомушка-блаженный, необходимо нужно приблизить к себе в известном отношении и напрямик открыться ему в настоящих своих намерениях и целях, сделав его таким образом одним из ближайших членов компании и как бы переходным звеном, связующим высших членов с низшими агентами-исполнителями, которые должны были знать только его одного, тогда как все главные деятели оставались бы для них совершенно темною, мифической загадкой. Таковы были планы графа Каллаша, и он вполне достиг осуществления их единственно лишь благодаря своей смелой решимости и наглой, самоуверенной откровенности, которою, в иных подходящих случаях, необыкновенно кстати и ловко умел пользоваться этот замечательный человек. Крутое обращение его с Фомушкой, спокойная передача ему бумажника во время ночного грабежа и наконец этот привоз его прямо-таки в собственную квартиру – все это было делом расчета, который, в свой черед, был делом необыкновенно быстрого и, можно сказать, гениально сметливого соображения со стороны графа. Он знал, что весь эксцентризм подобных действий сразу, ошеломляющим и обаятельным образом повлияет на грубую и непосредственную натуру трущобного обитателя. И действительно: предшествовавшие загадочные появления в трущобах чудного гостя, его неожиданный удар, без чувств поваливший Гречку, и потом ряд последовавших в эту ночь поступков показали Фомушке чем-то больно уж чудным, блистательным и неслыханным, так что он сразу почувствовал величайшее уважение, страх и какую-то рабскую почтительность к этому человеку, ибо ничто так

не действует на человека непосредственного, как соединение силы физической с силою нравственною. „С этим барином не пропадешь, это не нашему брату чета! С таким дьяволом – ух! как важно можно клей варить! Потому – сила и смелость, да и разума, как видно, палата!“ – решил он, на рассвете шествуя от него восвояси, и с той же ночи подчинил свою волю влиянию и силе этого человека.

LXIII

ФОМУШКА-ПРОРОК, ПО ОТКРОВЕНИЮ ХОДЯЩИЙ

В тот же день утром, сообразив все обстоятельства и не теряя времени, он отправился к Устинье Самсоновне.

– А что, братец, не слышно ли, как скоро гонение будет? – спросила его промеж постороннего каляканья хлыстовская матушка.

– Гонение? Как-то так гонение? – откликнулся Фомка.

– А от антихриста и ангелов его на верных слуг дому Израилева, – пояснила Устинья Самсоновна, очень уж любившая книжно выражаться по писанию.

– А что тебе в том гонении, матка?

– Как, братец мой, что! Пострадать за веру правую хотелось бы, претерпеть желаю.

– Желаешь?.. Ну, бог сподобит тебя со временем, коли есть на то хотение такое.

– Да долго ждать, мой батюшка, а мне хорошо бы поскорей это прияти, потому – человек я уже преклонный: может, бог не сегодня – завтра по душу пошлет.

– Можно и поскорей доставить, – согласился блаженный, с видом человека, который знает и вполне уверен в том, что говорит.

– Ой ли, мой батюшка?! Да каким же способом это? – воскликнула обрадованная фанатичка.

– А уж я знаю способ... Дух через откровение свыше сообщил мне... – с таинственной важностью понизил блаженный голос. Устинья Самсоновна ожидательно вперила в него взоры и приготовилась слушать.

Фомушка начал с обычною у него в таких случаях широковещательностью:

– Преданием святых отец наших, верховного гостя Данилы Филипповича и единородного сына его, христа Иван Тимофеича, про всех верных братьев-богомолов от поколения Израилева ты знаешь, мать моя, что именно завещано?

– Ну? – тихо вымолвила старуха, пожирая его глазами и боясь пропустить без глубокого внимания хоть единое слово из Фомушкина откровения.

– Тьем преданием завещано нам: живучи среди новых Вавилонов, сиречь городов нечестивых, кои бо суть токмо гнездилища мрашине, боритися непрестанно противу силы антихристовой, «дондеже не победите», сказано.

И вслед за этим приступам он вынул из-за пазухи и показал ей полученную от Каллаша ассигнацию.

– Зри сюда! Что убо есть сие?

– Деньги, мой батюшка... – робко произнесла недоумелая старуха.

– Не деньги, а семя антихристово, – авторитетно поправил ее Фомушка. – Но зри еще. Чье изображение имеется на тьем семени?

– Не ведаю, батюшка... Уж ты поведь-ко мне, голубчик, ты – человек по откровению просвещенный.

– На то и просвещен, чтобы поведать во тьме ходящим, – с важностью и достоинством согласился Фомка. – Тут бо есть положено изображение печати антихристовой – уразумей сице, матка моя, коли имеши разумение!

– Уразумела, батюшка, уразумела, касатик мой... Да только... как же это мы-то, верные, и вдруг... печатью и семенем пользуемся?

– Руки свои оскверняем, потому, никак иначе невозможно, доколе в мире сем живем и доколе антихрист воцаряется. А нам надлежит всяку пограву и зло ему творити, дондеже не исчезнет. А ты знаешь ли, матка, чем дух-то святой повелел мне в откровении зло ему учинять? – таинственно и даже отчасти грозно спросил ее Фомушка.

– Известна о том, наставниче, известна... Человек я темный, – сокрушаясь, помотала головой хлыстовка.

– А вот чем! – пристально уставился на нее блаженный. – В этом семени и печати есть его главная сила, и коли эту самую силу сокрушить, то и враг исконный сокрушится и уйдет обратно в греческую землю, где первично и родился, по писанию. А как сокрушить эту силу вражию?

– Известна, батюшко, и о том известна...

– Я тебе открою сие, только внимай со тщанием. Есть у них закон такой грозный, что буде кто это самое семя и печати его подделывать станет, тот да будет биен много и нещадно, и в Палестины сибирские на каторгу ссылаем. Про это, чай, слыхала?

– Слыхала, родненький, как не слыхать! Запрошлым летом еще одного за это самое, сказывали, быдто очинно жестоко на Конной стебали.

– А почему стебали-то? Потому самому и стебали, что от подделки веры люди не имут в семя и печати его, а коли веры не имут, стало быть, и сила его сокрушается, а коли сила сокрушается, стало быть, и сам он яко воск от лица огня исчезнет с лица земли. Вот оно что, матка моя. Поэтому дух божий и найде на мя, окаянного и недостойного, и повеле: да ничем иным, как токмо от единого семени побивать ныне антихриста!

Старуха, в мозгу которой глубоко засели и перемешались все предания и верования многообразных толков, какие она перепытала, и улеглись у нее в какой-то фанатический сумбур, только головою своею благоговейно покачивала да с верою впивалась глазами в блаженного.

– Стало быть, божьи люди победят, только зевать да времени упущать не надо нам, да пока до поры крепко язык за зубами придерживать! – заключил он весьма многозначительно и с великим глубокомыслием.

– А вот ты, матка, пострадать за веру ангельское хотение возымела, – неожиданно поддел он старуху, после минуты религиозно-раздумчивого молчания. – Это опять же не кто иной, как токмо аз, многогрешный, могу предоставить тебе.

– Ой, батюшка, да неужто же и вправду-ти можешь? – встрепенулась Устинья Самсоновна.

– Могу, потому, это все в нашей власти, – с непоколебимой уверенностью похвалился он.

– Да что же сотворить мне для экой благодати-то надобно?

– Твори волю пославшего, а я научу тебя. Аще хочещи спасенна быти, – начал плут с подобающей таинственностью, – открой свой дом избранникам духа, помести их в тайнице своей, в подызбище... Мы заведем здесь фабрику, и станем потайно творить фальшивые печати и семя.

Старуха поняла его мысль, и по лицу ее пробежал оттенок боязни и недоумения, что как же, мол, это вдруг у меня так устроится?

Фомушка сразу заметил ее внутреннее движение и поспешил строго и увещательно прибавить:

– Мужайся, мать моя, если хочешь спасенье прияти! Не поддавайся страху иудейскому: это антихрист тебе в уши-то шепчет теперь, это он, проклятый, в сердце твое вселяется!

Старуха испугалась еще пуще прежнего, ибо уразумела, что Фомушка, божий человек, проник в ее сокровенные помыслы, и что, стало быть, поэтому он воистину есть избранник духа.

– Вот видишь ли ты, маловерная, – с укоризной приступил он к новым пояснениям, – если мы понаделаем великое множество этого семени и рассеем его по свету потайно, так что про нас не догадаются ангелы нечестивии, то сила антихристова тут же и сокрушится, и настанет царствие духа, а ты, раба, в те поры божьей угодницей вживе соделаешься за свое великое подвижничество, за то, что силу вражию побороть пособляла.

– Так-то так, мой голубчик, – согласилась Устинья, – да все же... коли не успеем, да накроют нас...

– О том не пецьяся! – перебил ее Фомушка. – Это уж я так обделаю, что никак не накроют – у меня уж и людишки такие ловкие подобраны, а мы их в наше согласие, даст бог, обратим, ну, и, значит, к тому времени как дух к нам прикатит, мы себе через то самое еще более благодати подловим, ко спасенью души своей, значит.

Старуха согласилась и с этим многозначительным аргументом.

– А ежели, божиим попущением, и накроют нас слуги вражий, – вразумительно продолжал блаженный, – то опять же таки этому радоваться подобает, потому, коли накроют – сейчас же и гонение будет на нас: в кандалы забьют, в остроги засадят, бить много почнут и в Сибирь ссылать станут – ну, и значит, ты мученический венец прияти, мать моя, сподобишься, за веру претерпение понесешь, и царствие славы за это самое беспрременно будет тебе уготовано.

Старец Паисий Логиныч, строго безмолвствовавший во все время этого увещания, но тем не менее внимавший Фомушке, неожиданно поднялся теперь с своего места и с решительным, повелевающим жестом подошел к Устинье.

– Соглашайся, Устиньюшка, соглашайся! – прошамкал он разбитым и дряхлым своим голосом. – Братец наш правду тебе говорит, великую правду!.. Полнока, и в сам-деле, терпеть нам покорственно от силы антихристовой! Время и слобониться... Миру скоро конец, и всей твари скончание – час приспевает!.. Не мысли лукаво, соглашайся скорее!

Но своеобразная и ловкая логика смышленного мошенника и без того уже вконец проняла фанатическую старуху, так что она тут же порешила с ним на полном своем согласии.

LXIV ДОКТОР КАТЦЕЛЬ

Планы компании были весьма широки. Она не намеревалась ограничить круг своей деятельности пределами одного только Петербурга; напротив того, впоследствии, при развитии дела, когда оно уже прочно стало бы на ноги, предполагалось завести своих агентов в Москве, в Риге, в Нижнем, в Харькове, в Одессе и в Варшаве. Негг Катцель предлагал было основать фабрику не в Петербурге, а в Лондоне или в Париже, но Каллаш решительно воспротивился этой мысли.

– Здесь, – говорил он, – и нигде более, как только здесь в Петербурге, можно взяться за такое дело! Разве вы не знаете, что такое лондонская полиция? Там, как ни хитри, но едва ли нам, иностранцам, удастся провести английских сыщиков! В Париже – то же самое. А здесь мы все-таки у себя дома, здесь мы пользуемся известным положением в свете; хорошей репутацией, наконец, на случай обыска, ни при одном из нас, а также и в квартирах наших никогда не будет найдено ничего подозрительного.

Победа, в этом случае, осталась на стороне графа, тем более, что все почти необходимые материалы были уже тайно провезены из-за границы доктором и графом, в их последнюю поездку...

Роль главного фабриканта-производителя взял на себя Катцель, который, в сущности, был господин весьма замечательного свойства. Тип лица не оставлял ни малейших сомнений в чисто еврейском происхождении доктора, а его взглядчивые, слегка прищуренные глаза и высокий лоб ручались за обилие ума и способностей. Возвратясь в Россию с докторским дипломом венского университета, он первым делом подверг себя экзамену в присутствии медицинского совета и, выдержав его блистательным образом, получил право лечения в России. Это была необходимая заручка со стороны законных препятствий, и стоило только преодолеть их, чтобы начать уже действовать широко и обильно, с полной уверенностью. Доктор, между прочим, был очень хороший химик, любил науку, любил свое призвание и свое лекарское дело; но при всем этом – странная вещь! – он находил какую-то сласть, какое-то увлекательное упоение в том, чтобы посвящать свои знания и свою жизнь мошенническим проделкам. Он сам очень хорошо сознавал в себе эту склонность и называл ее неодолимою страстью, болезненным развитием воли – словом, какую-то манией, чем-то вроде однопредметного помешательства.

– По своему развитию, по своим убеждениям, – говорил он однажды Каллашу в одну из интимных, откровенных минут, – я постоянно стараюсь быть очень гуманным человеком, но инстинкты, природные-то инстинкты во мне отвратительны. Я знаю это, хотя и всякому другому дам их в себе заметить. Но что же мне делать, если, кроме самого себя, я никого не люблю!..

– А человечество? – заметил с улыбкою Каллаш.

– Да, человечество я точно люблю, но это какая-то абстрактная, безразличная любовь... И какое дело человечеству, люблю ли я его или нет?.. Вот, например, деньги – это другое дело! Деньги я люблю до обожания, во всех их видах и качествах. И для добычи денег, – говорил он с увлечением, – я ни над чем не задумаюсь, ни перед чем не остановлюсь!

– Как? – воскликнул Каллаш. – Даже и перед шпионством, даже перед продажей брата своего!.. Но ведь таким образом, извините за откровенность, наше сообщество с вами может быть небезопасно.

– Мм... могло бы, – произнес Негг Катцель, упирая на частицу «бы» и нимало не смутившись восклицанием графа. – Но вот видите ли, мой милый друг, этот путь, полагаю, менее выгоден: на нем никогда не заработаешь столько денег, сколько, при добром успехе, мы можем

заработать на нашем предприятии, поэтому я его презираю, тем более, что это и не сходствует с моими убеждениями. Нельзя в одно и то же время быть волком и лисицей.

– Но этот путь гораздо спокойнее и безопаснее, тогда как наш основан на ужаснейшем риске, – возразил Каллаш.

– Спокойствие... риск... Да знаете ли, что я презираю какое бы то ни было спокойствие и страстно боготворю один только риск! – воскликнул он с неподдельным порывом увлечения. – Риск!.. Да ведь в риске для меня все! В риске – жизнь, в нем страсть!.. А спокойствие... Помилуйте, да если бы я хотел только спокойствия и безопасности, мне не для чего было бы делаться мошенником. Pardon за откровенный цинизм этого выражения! Для спокойствия мне было бы совершенно достаточно моей науки, моих знаний, моего докторского диплома наконец; но в том-то и дело, что даже в науке я люблю ее таинственную да темную сторону, которая ни на минуту не дает успокоиться человеку, держит его в вечно напряженном лихорадочном состоянии и заставляет исследовать, пытаться, доискиваться тех тонких, неуловимых своих сторон, которые, на первый взгляд, кажутся недоступными человеку. А знаете ли вы, – продолжал доктор, под наитием какого-то вдохновенного экстаза, – знаете ли вы, что это за гордо-разумное, что за упоительное блаженство кроется в том мгновении, когда вы после таких мучительных нравственных страданий, после нескольких лихорадочно-бессонных ночей, убеждаетесь, наконец, что вы точно воистину доискались до того, чего вы искали, что вы сделали открытие?.. Пусть оно будет мало, пускай незначительно, ничтожно это открытие, но все же и оно ведь вносит свою лепту в общую массу знаний, все же и в него ведь вы полагали свою душу, страсть, свою разумную волю! О, это – минуты высшего нравственного удовлетворения, которые я не променяю ни на какое спокойствие в мире!

– Стало, вы можете быть вполне удовлетворены одною вашей страстью к науке? – возразил ему Каллаш.

– Нет, не могу! – решительно воскликнул Катцель. – Не могу потому, что в моей безобразно-страстной натуре лежат еще иные инстинкты. Теории Лафатера и Галля до сих пор еще не исследованы как должно, хотя многие признают их только научным пухом. Я мало занимался этим предметом, – продолжал доктор, – но весьма был бы склонен думать, что во мне развита шишка тонкого злодейства и шишка приобретения. По крайней мере я знаю, что страсть к этим двум началам составляет во мне какую-то болезненную манию, и, как ни старался, я никогда не мог одолеть ее, поэтому я ей покоряюсь.

– Убить человека, ради того только, чтоб убить, я никогда не способен, – говорил он самым искренним тоном, остановясь перед графом, – но убить его во имя науки, во имя таинственных процессов и законов органической жизни – готов каждую минуту, особенно когда мне за это хорошо заплатят. С первых самостоятельных шагов моих на поприще науки меня всегда как-то тянуло к исследованиям всевозможных ядов, и я добился-таки кой-каких счастливых результатов, но я люблю делать окончательный, так сказать, полный генеральный анализ не над животными, а над людьми, и – я вам скажу между нами – мне удалось таким образом, в разных местах Европы, изучить четыре превосходных яда, и каждый раз не без материальной пользы для своей собственной особы, а однажды, во время моего путешествия по Италии, отправил ad padres, посредством очень тонкого и медленного яда, одного весьма богатого, но чересчур уже долговечного дядю, за что от единственного мота-наследника его получил полновесный гонорар – ни более, ни менее, как пятьдесят тысяч лир, то есть двенадцать тысяч пятьсот рублей серебром на русские деньги. Вы – человек порядочный, человек без предрассудков, и притом же мой товарищ и компаньон по общему предприятию, поэтому я с вами и откровенен так – благо уж нашла на меня такая откровенная минута.

– Ну, а здесь, в Петербурге, вам еще не приходилось производить такие исследования? – спросил его граф.

– Пока еще нет, – спокойно ответил доктор, – но здесь удалось мне исследовать один новый, изобретенный собственно мною состав, который имеет свойство производить быструю и в высшей степени сладострастную экзальтацию. Я наблюдал его на одном из целомудреннейших и красивейших экземпляров двуногой породы, и результат вышел бесподобный. Вы слышали когда-нибудь о Бероевой? – неожиданно спросил Катцель.

– Мм... кое-что слышал... Это, кажется, та, что хотела убить молодого Шадурского? – отнесся к нему Каллаш.

– Она самая, – подтвердил доктор. – И она-то была моим экземпляром.

Тот поглядел на него с изумлением.

– Ничего мудреного нету, – возразил Катцель, как бы в ответ на его мину. – Я большой приятель с известной вам генеральшей фон Шпильце, и притом же ее постоянный домашний доктор: у нее почти нет от меня секретов.

– Но... послушайте! – перебил его граф. – Я вот чего не понимаю: с такой головой, с таким характером, с такими знаниями вы служите какой-нибудь фон Шпильце, исполняете ее заказы и тому подобное, тогда как не вы, а она, по-настоящему, должна бы быть у вас что называется в услужении.

Доктор горько-иронически усмехнулся.

– Это все должно бы быть так, и могло бы быть так! – проговорил он, с глубоким вздохом. – Да, могло бы быть, если б... если б мне прихватить где-нибудь немножко побольше характера относительно собственной своей особы... Знаете ли, мне сдается, что я вечно буду в зависимости от какой-нибудь Шпильце, наперекор здравой логике. Это потому опять-таки, что характера для самого себя не хватает. Вы знаете ли, что, например, делал я до сих пор со всеми денежными кушами, которые получал за границей? Тотчас же спускал в рулетку и оставался нищим... В последний раз, перед приездом в Россию, я помышлял уже о том, чтобы отправить ad radres самого себя, как вдруг случай столкнул с Амалией Потаповной, она меня выручила – ну, и... закабалила. Она мне дала первые средства жить, через свои заказы... Разбогатея я сегодня – я сегодня же знать ее не захочу, я сам закабалу ее, а завтра спущу все до нитки – и снова в зависимости от какого-нибудь подобного субъекта – все равно, будет ли он в юбке или в панталонах... В конце концов выходит только то, что я их всех ненавижу и презираю, но более чем их – клянусь вам! – презираю и ненавижу самого себя.

Граф Каллаш, хотя и сам был из людей бывалых и мало чему удивляющихся, однако, не без некоторого содрогания после всех этих признаний поглядел на доктора Катцеля. «А ведь фигурка-то – маленькая, мизерненькая, и такая невинная, безобидная», – невольно пришло ему на ум в ту минуту, когда наш ученый, покончив свою исповедь, которою он нимало не рисовался и не бравурничал, взял и спокойно закурил графскую сигару.

«Таков-то наш обер-фабрикант», – не без улыбки подумал в заключение граф Каллаш, внимательно созерцая фигурку доктора.

LXV

ФАБРИКА ТЕМНЫХ БУМАЖЕК

В сенях Устиньи Самсоновны находилась, от полу до потолка, сплошная перегородка, имевшая вид дощатой стены. Четыре доски этой перегородки задвигались за остальные четыре, по той же самой системе, как в иных магазинах стеклянные рамы у витрин. Отодвижные доски служили потайной дверью в темный тайничок, где собственно и крылась важнейшая суть хлыстовского приюта. Пол этого тайничка подымался на скрытых петлях, в виде люка, и открывал под собою деревянную лестницу, которая вела в подызбище, где постоянно господствовала непроницаемая темнота. Однажды в сутки, Устинья Самсоновна зажигала восковую свечу и спускалась в это подполье. Там таилась хлыстовская молельня. Помещение было довольно просторное, земляной пол весьма плотно утрамбован; стены, служившие фундаментом самой избы, сложены из плитняка известкового и имели с лишком сажень вышины. По стенам стояли скамьи, а в переднем углу была прилажена большая полка, и на ней, между двумя канделябрами, помещались четыре намалеванные образа хлыстовской секты: посередине, в виде Саваофа, изображен был вышний гость Данило Филиппович, вправо от него – стародубский богочеловек спаситель Иван Тимофеевич, а по левой стороне – лик «богородицы», матери Ивана Тимофеевича – Ирины Нестеровой. Этот последний образ представлял древнюю старуху, написанную в виде известного православного Знамени пресвятой богородицы. Далее виднелся еще один женский лик, называемый «богиней» или «дочерью бога».

Устинья Самсоновна зажигала канделябры, вздувала уголек в ручной медной кадилънице и начинала свое «моление»: «Дай к нам господи, дай Исуса Христа!»

Это подызбище было перегорожено на две половины: большую, где собственно и находилась молельня, и малую, представлявшую комнатку сажени в две длиною и около сажени в ширину. В этой последней совершались «переоболоченья» братьев, то есть переодеванья перед началом общих «радений», с которыми впоследствии познакомится читатель. Тут же, к одному боку была прилажена небольшая железная печь, доставлявшая в зимнюю пору достаточное количество тепла на целое подызбище. И вот в этом-то малом отделении хлыстовской молельни в одно утро появилась, о-бок с железною печкой, еще одна, тоже железная, небольшая химическая печь, которую с помощью Фомки-блаженного приладили здесь Herr Катцель и граф Каллаш. Все необходимые материалы переправлялись сюда посредством Фомушки и самих членов, день за день, почти незаметно, в разную пору дня и ночи, и притом разными путями, и проносились порознь, то разобранные по составным своим частям, то упакованные в какой-нибудь ящик, дорожный саквояж и тому подобное. Эта переноска заняла более двух недель времени, и таким образом исподволь и мало-помалу все увеличивалось тут количество весьма разнообразных предметов, которые обратили наконец подземную комнату в маленькую химическую лабораторию. Тут стал рабочий стол с химическими весами посередине, заставленный разными фарфоровыми ступками, пробирными трубочками, лампой Берцелиуса и тому подобными предметами; на полках поместились реторты да колбы и ящик с анилиновыми красками; другой угол заняли пресс, вальки для накатывания этих красок и литографские камни, а за ними – изящная прочная шкатулка с секретом хранила в себе металлические плитки, с выгравированными из них изображениями русских кредитных билетов, начиная с трех и кончая сторублевым достоинством. От одной стены до другой протянулись тонкие шнурочки, на которых должны были просушиваться приуготовленные бумажки, и посреди всех этих предметов, как некий маг и волшебник, предстоял доктор Катцель в серой блузе и красной феске, то вычисляя на грифельной доске эквиваленты, то с глубоким, сосредоточенным вниманием следя за реактивом какого-нибудь состава; наблюдал осадки или растирал в ступке необходимую ему краску. Доктор не решался сразу приступить к выделке ассигнаций – он все выискивал

и добивался таких результатов, которые устраняли бы всякое подозрение в фальши его произведений, и потому долгое время занимался одними только исследованиями красок и составов, стараясь в то же время довести бумагу до того вида и свойства, каким отличаются неподдельные русские кредитки. Часто даже по целым суткам и более он безвыходно оставался в своей лаборатории, упорно преследуя свою цель, забывал и сон и пищу, терял даже потребность в свежем воздухе, пока наконец в голову не начинал ударять страшный прилив крови, и организм изнемогал от столь долгого напряжения. Тогда Катцель переодевался в обычное платье и, послав предварительно либо Устинью Самсоновну, либо Паисия Логиныча оглядеть местность – нет ли там лишнего прохожего народу, – выходил на свежий воздух и пробирался к своей городской квартире, стараясь избирать по возможности различные пути для того, чтобы не примелькалась кому-нибудь его физиономия, что могло бы, пожалуй, случиться при путешествии постоянно одной и той же дорогой. Три-четыре дня отдыха придавали доктору новые силы, с запасом которых он снова спускался в свою подземную лабораторию. Остальные члены, то порознь, то вместе, посещали его раз в неделю и приносили с собою добрый запасец красного вина, которым обер-фабрикант в минуты усталости подкреплял свои силы.

Обитатели огородной избы благодаря Фомушке познакомились и даже сблизились настолько с членами будущего темного банка, насколько являлось это необходимостью при деле, которое производилось с их ведома и притом в их собственном доме. Устинья Самсоновна при встрече своих гостей каждый раз не переставала сердобольно обращаться к ним с вопросами: «Что же, батюшки-братцы, скоро ль гонение-то на нас будет? Поскорей бы хотелось!» – Или осведомлялась, когда именно думают они семя артихристово рассеять по лицу земли. Старец Паисий в этих случаях больше все помалчивал, только улыбался им с великим благодушием да отвечивал поклон, исполненный большого достоинства.

Между тем одно время Фомушка совсем исчез куда-то и очень долго не показывался ни у графа Каллаша, ни в избе Устиньи Самсоновны. Обстоятельство это немало-таки озаботило графа, ибо Фомушка был для него весьма нужным подспорьем в затеянном деле, как известно уже читателю. И только впоследствии было узнано, что раб божий Фома обретается в тюремном замке, по подозрению в краже. Время этого отсутствия совпадало с его арестом. Каким образом мог приключиться с Фомушкой такой неладный фокус, граф Каллаш не мог себе в точности представить, потому что Фомушка, в ожидании будущих благ, получал от него по мелочам весьма изрядное количество денег, которых вполне хватило бы для него, чтобы жить не нуждаючись и даже с некоторой, возможной для него роскошью.

– Мой милый граф, – рассудительно возразил ему, однажды Катцель, когда тот развил перед ним подобные соображения свои касательно Фомушки, – мы с вами имеем, конечно, средства, чтобы жить не нуждаючись и даже с возможной для нас роскошью, и однако ж... однако ж мы продолжаем мошенничать, из желания иметь как можно больше, чтобы жить еще роскошнее. То же самое и ваш милый Фомушка, которого я вполне уважаю.

– Такова уже натура, и против природы не пойдешь! – заключил Негг Катцель.

И он был прав. Действительно, такова уже была у Фомушки натура, что отказаться от одного мошенничества ради другого он чувствовал себя не в состоянии. Ему бы хотелось обоим разом предаваться. Видит он, что дело с бумажками еще только готовится, что заработки от него принадлежат пока будущему, и думает: «Что же я стану задаром время-то золотое терять?» И поэтому отнюдь не терял его даром. Хотя он и точно получал от графа порядочные деньжишки, однако подобного рода получения как-то мало удовлетворяли блаженного. «Это что за деньги! – размышлял он порою. – Это все равно что ты их на улице нашел: сами собою, задаром в твой карман приплывают. Это, по-настоящему, не деньги, а вот деньги, которые ты сам своей сметкой, своими мозгами да своими руками добудешь себе – ну, тут уж выйдет статья иная!» Старые привычки брали-таки свою силу над Фомушкой-блаженным. Бесшабашная, пройдошная натура его не могла помириться с тем относительно спо-

койным и довольственным существованием, какое доставляли ему подачки графа Каллаша. Эти старые привычки тянули его на свою сторону, заставляли по-прежнему простаивать, купно с Макридой и Касьянчиком, на паперти Сенного Спаса, корчить из себя юродивого, таскаться по перекусочным да по разным трущобам, сговариваться с Гречкой об убийстве ростовщика Морденки, и, наконец, ни с того, ни с сего, ради одной только привычки, украсть при выходе от всенощной бумажник купца Толстопятого – обстоятельство, как известно, доведшее его до «дядина дома», из коего освобожден он благодаря лишь ходатайству великосветской сердобольницы. Тут уж именно действовала одна только «натура», одни лишь привычные инстинкты, и больше ничего.

По выходе из тюрьмы, живя в богадельне, он навещался к графу Каллашу, но – увь! – банк темных бумажек не приносил еще никаких положительных результатов. Доктор Катцель все еще делал опыты, достигая разных усовершенствований, изготовлял пробные ассигнации, но... эти ассигнации все еще не подходили к искомому идеалу. Хотя каждая новая проба значительно приближалась к нему, однако до тех пор, пока этот заветный идеал не удовлетворен в совершенстве, доктор Катцель не решался выпустить ни одного экземпляра из своей лаборатории. Он упорно боролся с нетерпением своих сотоварищей, особенно же с Каллашем; дело доходило до крупных и горячих разговоров, и все-таки в конце концов настаивал на своем, и те ему уступали.

– Если уж делать, то делать так, чтобы это было достойно порядочного человека! – убеждал он их в минуты подобных споров. – Иначе, возьмите вашего Фомку, и пускай он, а не я, занимается в этой лаборатории! Грубых подделок и без того довольно гуляет по свету, а я хочу сделать так, чтобы потом, в случае печального исхода, мне, ученому химику, не пришлось бы краснеть за свое изделие и за свое знание. Для вас же будет лучше, – говорил он, – если потом вы сами не отличите их от настоящих: тогда мы будем свободно и смело являться с ними хотя бы в государственный банк, для размена!

Этот энергический жар и уверенность, с которыми приводил доктор свои доказательства, и это совершенствование, замечавшееся в кредитках после каждого нового опыта, убеждали членов в справедливости его слов и доводов, так что они единодушно решались ждать того времени, когда наконец труды и усилия обер-фабриканта увенчаются полным успехом.

Приходилось ждать и Фомушке, хотя он и не был посвящен в эти споры и успехи доктора. Но столь долгое ожидание погоды, сидя у моря, начинало уже немножко надоедать ему. «Видно, дело не путевое, и надо так полагать, что ничего из него не вытрясется! Ничего клевого не выйдет!» – стал иногда подумывать Фомушка с кислой улыбкой сомнения, близкого к полному разочарованию.

LXVI

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОСЬБА – ПОСЛЕДНЯЯ МЫСЛЬ

Когда в обыкновенной тюремной «мышеловке» арестантку привезли с Конной площади обратно в тюрьму, она была уже очень слаба и едва-едва лишь на ногах держалась.

Минуты, пережитые ею в последнее утро, казалось, совокупили в себе все те страдания, которые перенесла она со времени первой катастрофы до того мгновенья, пока дверца фургона не скрыла ее наконец от тысячи глаз любопытной толпы. Но ко всему, что в течение долгого времени накопилось в груди этой женщины, путешествие на Конную площадь надбавило теперь последнюю гирию, которую уже не в состоянии был выдержать организм ее. Нервическое потрясение оказалось столь велико, что из тюремной конторы Бероеву прямо отправили в лазарет, который для женщин помещается в верхнем этаже их «дядиной дачи».

Вскоре у нее начался значительный упадок сил и с каждым часом все шел прогрессивнее. Сознание, впрочем, ни на минуту не покидало больную – рассудок ее был совершенно ясен.

Пришел доктор, пощупал пульс и весьма сомнительно покачал головою.

– Ну, что?.. Как? – спросила его тут же у постели лазаретная надзирательница.

– Да что... Очень плохо.

Бероева открыла глаза и жадно старалась ловить полусшепот этих людей.

– Но все-таки есть надежда? – спросила надзирательница.

– Мм... н-да, пожалуй... однако очень мало.

– Вы полагаете, стало быть, что умрет?

– Н-да... мне кажется, не вынесет... Упадок сил чересчур уж велик.

– Да и как быстро наступил-то он!.. И все сильнее, все сильнее ведь!

– Это-то и скверно.

– Что ж тут делать теперь?

– Ну, пропишем что-нибудь... посмотрим... может быть... только едва ли...

Бероева слышала кое-что из этого разговора – об остальном она догадалась, и сердце ее сжалось тоской и холодом. Смерть... она не думала, чтобы смерть была так близка... она не чувствовала и не ждала ее. Смерть! – и эта мысль испугала больную.

Мысли ее стали мешаться, путаться, в ушах зазвенел какой-то смутный шум, глаза смыкаются невольно, как бы под обаянием неодолимой дремоты, и наконец наступает какое-то сладкое, дурманящее забытие.

Сын Эскулапа, для успокоения совести, прописал какое-то снадобье, с которым часа полтора спустя сиделка подошла к постели Бероевой и растолкала спящую.

Та с усилием открыла глаза. Пробуждение от этого сна показалось ей тяжким и сопровождалось тем нудящим ощущением тошноты, которое подымается в груди перед обмороком, а иногда в первые мгновенья после него.

– Лекарство прими, – предложила сиделка-арестантка.

– Не надо... – слабо проговорила больная, которую от этого чувства дурноты еще более клонило ко сну: организм просил полного успокоения.

– Да все ж-таки прими, моя милая, – ведь дохтур приказал, – убеждала сиделка, продолжая тревожить ее расталкиванием.

– После... – чуть слышно ответила Бероева.

– Да как же так?.. Я, право, не знаю... я надзирательнице кликну – пуцай она сама, как знает.

– Оставьте, Христа-ради... дайте мне покой.

– Да ведь приказано!

Встретя столь настойчивое сопротивление, Бероева нервно, хотя весьма слабо, замалась на своей койке. Это требование только сильнее раздражало ее, произведя конвульсивно-лихорадочные содрогания во всем теле.

– Бога в тебе нет, что ли! – укоризненно накинудись на сиделку несколько больных арестанток. – Не видишь разве! – Все равно помрет... Оставь ты ее, не мучь напоследок – уж и без того ей вдосталь пришлось сегодня... совсем помирает ведь.

Общая укоризна подействовала: сиделка, поставив склянку на стол, отошла от постели.

Но зловеще в ушах Бероевой раздались слова арестанток:

– Все равно помрет... совсем помирает.

Ужасная мысль о близости смерти снова мелькнула в ее уме пугающим призраком, и на этот раз больная решила собрать все скудные силы, какими владела в эту минуту.

– Мавру Кузьминишну... голубушка, Мавру Кузьминишну, – слабо пролепетала она, обратив молящий взор к своей лазаретной соседке, лежавшей на рядом стоящей койке, – бога ради, Мавру Кузьминишну! – умоляющим стоном повторила она.

И через несколько минут надзирательница уже держала ее холодеющие руки.

– Мавра Кузьминишна... тут у меня в ладонке, на шее... вы знаете... вместе с крестом старинный рубль зашит... старинный рубль... от дочери... Снимите с меня...

Старушка исполнила ее желание, и Бероева слабою рукою поднесла к губам свою заветную память. На глазах ее появились слезы.

– Бедные мои дети! – горько прошептала она, продолжительно прильнув к этой ладонке. – Не увижу больше...

Мавра Кузьминишна и больная соседка поддерживали слегка ее голову. Остальные внимательно и в каком-то благоговейном молчании следили со своих кроватей за этою грустною сценою.

– Я умру, говорят они... Нет... Боже мой, нет!.. Неужели... Смерть... Но... если я умру, – продолжала больная, в борьбе с этой мыслью, тихо взяв руку надзирательницы, – напишите к родным – вы знаете куда... Жив ли он, и что с ним... Если он жив – муж мой – пускай ему скажут, что я и в последнюю минуту о нем да о детях несчастных поминала... Он любит нас... А тем, врагам нашим... бог с ними! Я прощаю им... Пусть и он простит...

И новые слезы полились из глаз умирающей.

– Теперь – моя последняя просьба... последнее желание... бога ради, сделайте это... Для умирающего человека можно, – продолжала она, подняв на старушку молящие взоры. – Это каприз, но... в нем теперь все, что осталось мне дорого от прошлого... Этот рубль – подарок дочери моей, – я не хочу с ним расстаться... Умоляю вас! Не откажите моей последней воле!.. Положите его со мною в гроб... Вы сделаете это. Дайте мне слово!..

Мавра Кузьминишна пообещалась, и на лице умирающей, словно тихая тень весеннего облака, легла светлая, довольная улыбка.

– Благодарю вас... – прошептала она, – благодарю... Теперь я умру спокойнее... Не отходите от меня... Будьте хоть вы со мною – все же легче как-то: не одна хоть буду в последнюю минуту... Сядьте здесь... поближе...

Старушка села подле нее и все держала ее руки так нежно и любовно, как могла бы разве одна только мать держать своего умирающего ребенка.

Но зато, после стольких усилий, после минутного напряжения стольких нравственных и физических способностей, которыми сопровождалась эта сцена, организм Бероевой совсем уже истощился, и начался окончательный упадок сил...

Она слабо дышала, лежа навзничь на своей постели. Глаза были закрыты, пульс едва уже бился, и рука, сжимавшая у груди заветную ладонку, холодела все более. Через полчаса это состояние почти незаметно перешло в какой-то окоченелый сон, так что ни пульса, ни дыханья уже не было слышно.

LXVII МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ

Слабее, слабее становится тело – с каждой секундой силы угасают все больше. За минуту Бероева могла еще двинуть по своей воле рукой или пальцем, теперь ей уже трудно сделать это: она не может даже шелохнуть ни единым суставом, да ей и не хочется, она чувствует, что ей было бы болезненно-трудно шевельнуть чем-нибудь. Как хорошо лежать ей теперь неподвижно в этом расслабляющем оцепенении! словно бы великая лень разлилась по всему телу, по всем суставам и жилам и держит ее под своим обаянием. «Ах, кабы не будили! Ах, кабы они оставили меня!» – смутно промелькнуло в голове Бероевой, так смутно, как иногда в яркосолнечный день мелькнет на прибрежном чистом песке тень от крыла пролетевшей птицы. Но ее не будят, она как будто чувствует, что руку ее держит чья-то другая, дружелюбная рука – это была рука Мавры Кузьминишны, – ее не будят, и она довольна, она рада этому: ей так хорошо лежать в этом забытии, сковывающем тело.

Глаза смыкаются все больше и больше, и, пока они совсем еще не сомкнулись, Бероева, будто сквозь голубоватый туман, почти бессознательно и бледно различает около себя какие-то фигуры – не то это люди, не то деревья. Фигуры эти мелькают и рябят перед ее глазами, как рябят иногда печатные строчки у человека, засыпающего над книгой.

Но вот голубоватый свет тумана перешел в какой-то мгристо-серый, и фигуры исчезли... Вместо их появляются новые ощущения.

Тяжко-сладкая дремота долит и долит все сильнее, и уже нет того сознания, которое за минуту еще мелькало в ее уме, выражаясь желанием, чтобы ее оставили в этом покое и не будили больше. Теперь уже нет никакого сознания окружающей действительности, потому что на место его появилось сознание каких-то призрачных грез и ощущений.

В ушах раздается неопределенный шум. Какой это шум? Не то тысячи колоколов гудят во тьме... Кремль и московские соборы в полночь, во время христовой заутрени... гудят и звонят все сильнее, все ближе – гул и звон со всех сторон охватывают Бероеву. Боже мой, какой это ужасный, какой нестерпимый звон!.. А в глазах, в глазах-то что за дивный свет ударяет в них сверху! Это яркое солнце ослепительно, нестерпимо режет глаза своим колючим блеском. Целые снопы золотых, бриллиантовых лучей отовсюду, мириадами кидаются в глаза и жгут, и слепят их собою.

Не то звуки плохого, расстроенного фортепиано раздаются в ушах – словно по клавишам без толку и смыслу ударяет чья-то неверная, детская рука, не то грохот барабанов раздается, шум и крики толпы; а в глазах колесами ходят и сплетаются между собою, будто в дивной фантазмагии, какие-то огненные круги, играющие всеми цветами радуги, и эти круги являются в разных размерах – большие и малые, а между ними, на темном фоне, дождем падают, сыплются, и скачут, и прыгают, и вьются, и кружатся мириады светлых точек, бриллиантовых искорок, снежинок. Радуги налетают на нее со всех сторон, с непостижимой быстротой сливаются вокруг ее тела, опоясывают ее сверкающим обручем – и она лежит вся в огне, вся в блеске и треске, под нескончаемым дождем светлых искорок, в нескончаемом шуме и звоне каких-то странных голосов, каких-то диких инструментов.

Но вот стихают этот блеск и шум, становясь все глуше и глуше... Теперь уже будто не барабаны, не колокола и не голоса толпы, а словно бы шум и кипение бесконечного моря. И это не море, а целый океан шипит, волнуется и клубится. Холодно. Плеск волн все тише и слабее – будто она, заснувшая, медленно и плавно опускается на дно морское. Тусклый свет едва-едва проникает своими слабыми, преломляющимися лучами сквозь холодные массы воды, – и это именно подводный свет, с зеленоватым отливом... Большие, безобразные рыбы медленно двигаются в безднах океана, тихо раскрывая и смыкая свои страшные пасти, машут плавательными

перьями и смотрят на утонувшую своими холодно-стеклянными, неподвижными глазами. Она опускается все глубже и глубже, и чем глубже, тем все холоднее становится ей. И вот этот водяной холод равномерно разливается по всем членам ее тела. Наконец она совсем уже опустилась на дно морское – навзничь лежит недвижимо и не чувствует больше холода; здесь уже нет ей ни холода, ни теплоты, а есть только одно оцепенение. Рыбы тоже исчезли, и тусклый зеленовато-подводный свет улетучился кверху.

Наступили мрак и тишина – полнейшая тишина и мертвенное спокойствие. Прошло несколько долгих минут среди такого ничем не возмущенного состояния.

– Кажись, умерла, – вдруг послышался оцепеневшей Бероевой шепотливый голос Мавры Кузьминишны, и показалось ей, будто в этом голосе был легкий оттенок испуга.

– Надо быть, умерла, – шепотом же ответил голос больной соседки.

Несколько арестанток тихо, осторожную походкою, в своих серых халатах подошли к Бероевой и долго, с чувством немого благоговения, которое всегда бывает инстинктивно присуще человеку перед одром только что отошедшего брата, глядели в строго спокойное синевато-бледное лицо умершей.

– Умерла... – невольно промолвили некоторые из них, и это слово, точно так же как и полусшепот Мавры Кузьминишны, достигло до слуха Бероевой.

«Умерла?.. Как – умерла?! Что это они говорят?» – мелькнуло в ее слабом сознании, которое, вместе с наступившей тишиной и мраком, мало-помалу начало снова возвращаться к ней. Но с возвратом внутреннего сознания к ней не воротилась способность проявить его внешними признаками: звуком, взглядом, движением. Физические силы совсем оставили это мертвенно-неподвижное тело.

«Что это вы говорите?! Я жива! Жива! Поглядите – вот!»

Бероевой в ее исключительном положении показалось, будто она не только произнесла, но даже громко выкрикнула эти слова, и ей хотелось, всеми силами своего слабого сознания хотелось выкрикнуть их громче, чтобы разуверить окружающих в своей мнимой смерти. Но странно: окружающие как будто и не слышали ее слов: они продолжали относиться к ней, как к мертвой.

– Надо бы позвать надзирательницу, да доктора – пушай поглядят, – вполголоса предложила сиделка и на цыпочках вышла из комнаты.

«Ну, вот! Слава богу! Доктор придет... Он увидит, он разуверит их», – прокрался у Бероевой луч надежды.

Пришел доктор, взглянул на застывшую женщину, приподнял ей большим пальцем зрачок и в тусклый глаз заглянул, затем пощупал пульс и кивнул головой: готово, мол!

– Умерла? – спросила его Мавра Кузьминишна.

– Конечно. Разве вы не видите?

«Да нет же! нет!.. Я жива!.. Я слышу!..» – силилась закричать Бероева, и снова показалось ей, будто она действительно крикнула. Но нет, не слышат... Хочет она хоть чем-нибудь подать знак им о присутствии в ней жизни, хочет приподнять опущенные веки – и не может поднять их; силится шевельнуть пальцем – безжизненные мускулы не поддаются невероятно упорным усилиям ее воли, а между тем она все ясней начинает слышать движение окружающей ее жизни, даже отдельные людские голоса различает, сознавая, когда и что говорит доктор и когда Мавра Кузьминишна.

При этом в ней поднялось то смутное невыносимо тяжелое чувство, которое наплывает на грудь и голову человека во время сонного кошмара.

«Да это сон, это кошмар, – думает Бероева, – он сейчас кончится, только сразу никак не могу проснуться... этого ничего нет, это все только снится мне».

Но кошмар не проходит, и, несмотря на все усилия воли, проснуться она не может.

– Накройте ее и уберите койку, да в контору дайте знать о смерти, – распорядился доктор, удаляясь из комнаты, ибо засим ему уже нечего было делать в лазарете.

– Как быть-то? Ведь по закону, кажись, нельзя класть к покойнику в гроб драгоценные вещи? – с озабоченной сомнительностью обратилась старушка к бывшей соседке Бероевой.

Мнимоумершая расслышала и эти последние слова. «Неужели она не положит? Неужели не исполнит моей просьбы?»

– Так что ж, это ведь не бральянт какой, а просто-напросто старая денга – чай, сами слышали! – подумавши, возразила арестантка. – Опять же последняя воля – просила-то ведь как!.. Слезно просила!.. Ведь грех не сделать-то!

– То-то что грех, – со вздохом согласилась Мавра Кузьминишна. – Это на совести будет... Боюсь только, от начальства чего бы не вышло, если узнают... Ну, да уж что об этом думать, коли по христианству должно исполнить! – махнула она рукою. – Последняя воля – великое дело.

Бероева во внутреннем сознании своем просветлела от последних слов старушки.

Если бы воля ее повиновалась ей, то на лице ее отразилась бы улыбка самой искренней, самой теплой благодарности, но теперь – лицо осталось мертво и безвыразительно.

И вскоре после этого Бероева, хотя и чересчур слабо, однако ощутила-таки, как ее всю – от головы до ног – покрыли чистою простынею и как два солдата подняли ее вместе с койкой и понесли из больничной палаты.

Арестантка Катя Балыкова, та самая, которой Бероева иногда писала письма к ее Осипу Гречке, проведав теперь о смерти Юлии Николаевны, слезно обратилась к Мавре Кузьминишне, допустить ее обмыть покойницу, «Хоть этим-то отблагодарить за душевность ее!» – прибавила она в пояснение своего желания. Надзирательница согласилась и вместе с Катей сама обмыла, сама одела Бероеву и, разжав ее пальцы, вынула из руки ладонку и надела ей на шею, под смертную арестантскую рубаху.

После того тело, до следующего дня, вынесли в «мертвецкую».

* * *

Близится ночь. Покойница лежит на столе в тюремной «мертвецкой», покрытая все тою же чистою простынею. Перед образом мерцает лампада, в головах у нее восковая свечка теплится и кидает на стену поперечную тень от лежащей женщины. Эта тень рисует неправильный профиль головы, бугорок, в том месте, где на груди сложены руки, и острый, выдающийся угол пальцев ног под простынею.

Тихо. Только сверчок уныло и робко цвирикает под половицей, да изредка треснет нагорелая свечка – и монотонно-глухо раздастся внятный голос читальщика Китаренко, который «ради спасения души» выпросился почитать псалтырь над покойницей.

«Святой боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас», – смутно звучится в ушах Бероевой, и в мозгу ее копошится новая тень мысли:

«Над кем это читают?.. Надо мной читают?.. Да, надо мной читают!»

«Со святыми упокой, Христе, душу новопреставившейся рабы твоя Юлии, – продолжает меж тем монотонно тягучий голос псаломщика, – иде же несть болезнь, ни печаль, ни вздыхание, но жизнь бесконечная».

«...Но жизнь бесконечная... Я умерла, – шевельнулась новая мысль в сознании Бероевой. – Смерть... А, так вот она – смерть!.. Я не вижу, не двигаюсь, но я слышу... Умерло тело, душа жива... „Но жизнь бесконечная...“ – Сознание, значит, останется: оно – жизнь бесконечная. Страшно. Но это теперь, пока я на земле, пока меня люди окружают, а дальше-то что же?»

«Земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси создавый мя и рекий ми: яко земля еси и в землю отыдеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще: песнь аллилуйя».

«Но дальше, что же дальше-то будет? – неотвязно замелькала перед мнимоумершей все та же пытливая, ужасающая мысль. – Теперь я слышу жизнь, а когда закопают в могилу – там уже нечего будет слышать... Какие звуки там, под землею?.. Сознание осталось... А когда тело сгниет и кости истлеют? Тогда же что?»

«Чудны дела твоя, и душа моя знает зело. Не утаися кость моя от тебе, юже сотворил еси в тайне», – звучит голос читальщика; а ночь, меж тем, растет и расстилается над неугомонным городом.

Порою будто туман непроницаемо заложит голову Бероевой и одолевает ее какое-то обморочное, мертвенное состояние, слух притупится, и мысль застынет; но потом опять начинают раздаваться в ушах какие-то неясные звуки, которых нельзя еще различить; однако из этих самых звуков через несколько времени начинают выделяться слова, из слов целые фразы читаемой псалтыри, и смутное сознание снова пробуждается, и ясно вырастает в нем роковой вопрос: «Что же дальше будет?» – пока и мысль и слух опять не погаснут в новом наплыве каких-то призрачных грез, тающих под конец в этом обморочном, всепоглощающем тумане.

LXVIII ТЮРЕМНЫЕ ВЕСТИ И НОВОСТИ

Тюремные новости разносятся необыкновенно быстро. Это своего рода телеграф, в котором, впрочем, электрическая проволока и все другие аппараты весьма успешно заменяются одним только языком. В тюрьме, среди одуряющего однообразия жизни, каждое приключение – вроде того, что две арестантки за что-нибудь подрались, или один арестант стащил у другого рубаху – считается уже новостью, которая тотчас передается на другие этажи и отделения. Оно и понятно: хотя драка или местное воровство – явление самое обыкновенное в подобной среде, но все же и они в тюрьме отчасти выдаются из скучно-монотонного уровня скучнейшей жизни, где один день ни на йоту не отличается от другого, где завтра тянется как вчера, а вчера как сегодня, и так целые недели, месяцы и даже годы. При этих условиях – понятное дело – такое обстоятельство, на которое в иной обстановке никто из заключенных и малейшего внимания не обратил бы – «не плюнул бы», как говорят они, здесь уже приобретает своего рода важность, значение новости или приключения и, как новость, разносится по всем камерам, с достоюдолжною быстротою.

Утром этого дня новость заключалась в отправке Бероевой на площадь – «К Смольному затылком на фортунке покатали марушку одну с дядиной дачи», – передавали арестанты друг другу; а к вечеру всеобщей новостью для тюрьмы стала внезапная смерть этой самой марушки, и рассказ о том, как умирала и что говорила, что делала при этом арестантка, быстро перелетал из уст в уста, с вариациями, дополнениями и изменениями. Каждый присовокуплял к нему, что хотел, по своему личному вкусу и соображению: лазаретная сиделка передала придвернице, придверница стряпухам и прачкам, те разнесли по женским камерам, а женщины, в свою очередь, передали мужчинам.

Есть в тюрьме один пункт, в котором деревянная стена отгораживает мужское отделение от женского. Этот пункт и служит главной станцией устных депеш от мужчин к женщинам и обратно. У всех почти заключенных, которые имеют свои тюремные платонические романы, условлены известные часы для свиданий с дамами сердца. Лица не видно, зато голос можно хорошо слышать, стало быть, есть возможность разговаривать. Точно такой же условный час свидания существует и у Гречки с арестанткой Катей Балыковой.

– Что у вас, помер кто-то, слышно? – спросил голос Гречки.

– Ах, уж и не говори!.. Такое это у меня горе!.. Ведь самая душевная моя, любимая моя померла-то! – встосковалась Катя Балыкова. – Сколько раз, бывало, попросишь письмо к тебе написать – никогда отказу не было.

И арестантка со всеми подробностями, на сколько сама знала, передала ему рассказ о последних минутах Бероевой.

– Ты говоришь, деньги приказала положить с собою? – очень серьезно и тихо спросил Гречка видимо изменившимся голосом.

– Ах, уж так-то просила... Со слезами, говорят... Это, мол, самая заветная вещица моя, приказывала им, ни за что, мол, расстаться с нею не желаю.

– Гм... И ты не врешь, что сама видела, как оно в ладонке зашито?

– Зачем врать, своими глазами видела. Потому, я очинно любила покойницу, – объясняла Балыкова, – так я выпросилась у Мавры Кузьминишны, чтобы взяла меня вместе с собою обмывать да убирать ее, – тут вот и видела, как она, значит, на шею надела ей.

– Гм... А денюга-то самая, рубль старинный, что ли?

– Старинный, точно старинный – тяжелыше нынешних.

– Да это верно?

– Что сама видела да слышала, то и говорю, – подтвердила Катя. – Мавра Кузьминишна и допреж того знала про этот самый рубль, – продолжала она, – потому, сказывала она, что покойница ей не раз говорила про него: они со старушкой-то нашей словно дочка с матерью жили. Так вот она и сказывала, что рубль-то петровский какой-то... верно, особенный... в семье у них издавна хранился.

Если б Катя Балыкова могла видеть Гречкино лицо, то она увидела бы, как изменилось, как просияло оно в эту минуту.

– Ну, прощай, душа, спасибо за новость! – торопливо промолвил Гречка.

– Да куда ж ты, лиходей мой!.. И слова еще по душе не сказали! – укорила Катя.

– Некогда... Ужо поговорим, а теперь не время. Да слышь ты, – внезапно он прибавил, – не знаешь, когда ее хоронить будут?

– А сказывали, будто завтра хотят.

– Завтра?.. Гм... Эка штука... – раздумчиво процедил озабоченный Гречка. – Ну, да ладно, завтра, так завтра! Прощай!

И Катя слышала, как удалился он поспешными шагами.

* * *

В голове Осипа Гречки горячо кипело множество мыслей, так что он, видимо, находился в лихорадочном состоянии.

«Старинный рубль... петровский – значит этта амператора Пётры-Первого, как сказывал Жиган, – размышлял он сам с собой. – Издавна в семействе хранился и в ладонке зашит... Да еще слезно приказывала в могилу положить с собою... Это фармазонские деньги – они! Беспременно они! Беспременно фармазонские! – решил арестант и еще жутче погрузился в свои думы. – Надо во что б то ни стало добыть эти деньги!.. Во что б то ни стало!.. В часовню забраться, нешто?.. Не заберешься: укараулят... Одна штука – бежать, – да бежать, как можно скорее!.. А как раздобудешься заветным рублем неразменным – господи, что за жизнь-то пойдет счастливая! – упоительно предался он мечтаньям: – Живи, ни о чем не тужи, ни о чем не заботься, одет, обут и пищия тебе тут всякая, и напиток хороший! Любо! Ух, как любо!.. Ажно дух захватывает!.. Фатеру хорошую найму, сударушка своя собственная будет – барином жить стану... И воровать уж не буду – незачем... Ни за что не буду, ни-ни, и детям закажу – экого богачества по весь век за глаза ведь хватит... На покое да на волюшке заживем тогда! Одно только скверно, черт побери, очинно уж скверно! – приостановился он в дальнейшем порыве: – Чтобы добыть-то их, эти фармазонские денежки, надо будет над мертвецом надругательство сделать... Иначе не достанутся, сказывал Жиган, то-ись никак не достанутся... Эх, доля наша, доля горемычная! Каково-то оно есть, это счастье людское – и за что нашему брату приходится черту запродать свою душу навеки, а даром и не добудешь этого счастья... Ну, да что ж такое? Запродать, так запродать! – решил он, после минуты раздумья. – Мне, что теперь, что после, по писанию – все едино пропадать ведь надо... За наши добрые дела, сказывают, будто на том свете в рай ко святым не пушают, а прямо в огненную реку волокут, – так, значит, это для нас все равно, что ничего, потому, и без того сволокли бы, потому, хоть и убегу, хоть и на воле буду, – а хлеб жевать надо, – ну, и, значит, беспременно воровать надо: без того уже нашему брату невозможно как-то, с волчьим видом ни в какую иную работу не примут. Тут уж лучше, коли пропадать – пропаду по крайности за счастье свое; по крайности узнаешь, каково таково это самое счастье на свете бывает!»

И Гречка окончательно уже решился.

LXIX ПОБЕГ АРЕСТАНТОВ

«Жил-был на свете добрый молодец, а прозвание молодцу было Хмелинушка-бездельный», – рассказывал Кузьма Облако собравшейся вокруг него, по обычаю, кучке арестантов, когда Гречка вошел в эту камеру, непосредственно после своего решения о скором побеге. Он пришел сюда с целью окончательно сговорить себе подходящего товарища, которого он наметил уже гораздо раньше и недели за три до описанных происшествий успел даже раза два намекнуть ему о возможности побега. Гречка знал, что это человек решительный и предприимчивый, со стороны которого едва ли встретится отказ. Вошел он в камеру в начале седьмого, спустя около двух часов после смерти Бероевой.

«Задумал Хмелинушка жениться, крестьянским хлебом кормиться, – продолжал Облако. – Оженился Хмелинушка – жонка вышла неудачливая: где бы печь истопить да варева наварить, а она в гречку скакать, в конопли хорониться да с чужими парнями водиться. Задумал Хмелинушка нову тесову избу поставить – жить хозяином да господу славить. Поставил – пришел огонь, повыгнал Хмелинушку вон: погорела изба. Пошел Хмелинушка в поле – полоску боронить, на зиму хлебушки накопить.

Уродило яровое, да пришел град небесный, повыбил Хмелинушкину ржицу. Видит Хмелинушка, во всем ему незадача. Пошел Хмелинушка куда глаза глядят, а навстречу ему Горе идет, на клюку опираючись, над Хмелиною насмехаючись. Само Горе лыком подпоясано, а ноги мочалами изопутаны. Испужался Хмелина Гора безобразного, да в темные леса от него поскорей! Глядит – а Горе прежде его в темный лес зашло, навстречу идет да поклон отдает. Пуще того испужался Хмелинушка, бежать ударился, да и прибег в почестный пир христианский: нет места во пиру Хмелинушке, потому – Горе раньше зашло, да на его место уселось. Тут Хмелинушка от Гора – во царев кабак, а Горе встречает, уж и водку-пиво ташит, да востер булатный нож подает. Подружился Хмелинушка с Горем, брательски с ним побратался, и говорит ему Горе великое: «Дам тебе я, доброму молодцу, путь пространный, дорогу широкую, дам тебе я хоромину крепкую да теплую, дам тебе я хлеб да одежду богатую. Дорога моя – Володимирка, хоромина – сибирский острог, а хлеб да одежина – казенные, не простые казенные, а клейменные, арестантские».

– Это ровно, как в нашей тетраде списано, – заметил на это один арестантик из грамотных: – там тоже эдак про горе говорится:

Горе плачет и смеется,
Горе вьется вертемом,
Как осина горе гнется,
Горе ходит с топором.

– Что брат, хороша песня? – подмигнул Гречка одному арестанту, который третий месяц содержался в тюрьме по делу, грозящему неминуемой каторгой.

– Одно слово – арестантская, – пробурчал вопрошаемый.

– А сказка? тоже, поди-ко, недурна?..

– Ништо себе, живет...

– Точно, брат, живет. Это твое верное слово. Только ты постой, ты сначала почувствуй, брат! – распространялся перед ним Гречка. – Это еще не сказка, – а только малая присказка, а сказка-то самая будет нам с тобой впереди, как вот в Конном трактире даром порцию миног отпустят да клеймовой тройцей благословят, чтобы не потерялся и чтобы мать родная при-

знала, значит, да вот как с железной музыкой, в браслетиках, прогуляться пошлют, – ну, это тогда точно что уж сказка будет!

Тот, с невкусным выражением в лице, почесал у себя за ухом.

– А вот я тебе сказку скажу – моя получше выйдет! – как-то двусмысленно предложил ему Гречка: – Пока что, и моя, авось, пригодится... Хочешь послушать, что ли?

– Болтай, пожалуй.

– Постой, кума, в Саксонии не бывала! – отшутился Гречка и совсем спокойно уселся подле избранного субъекта, по-видимому, намереваясь только праздное время убить в приятной компании да послушать, о чем тут люди гуторят.

Арестанты меж тем песню запели. Начал Филинов, а несколько голосов подтянули:

Вот так муж жену любил... –

выводил он веселые переливы, избоченясь и изображая разными ужимками и всею фигурою, как именно муж любил жену свою.

Уж он так ее любил –
Щепетенько³⁵³ водил.
По морозу нагишом,
По крапиве босиком.
А жена его любила –
Щепетней того водила,
Щепетней того водила,
В тюрьме место откупила,
Откупила, снарядила –
Пятьдесят рублей дала.
Вот тебе, мол, муженек.
Вековечный уголок!
Не толки, не мели –
Только руку протяни,
Только руку протяни
Да... вспомяни,
Ты... вспомяни
И готовое прими!

Под шумок этой песни Гречка незаметно толкнул в бок избранного товарища и пересел с ним подале.

– Верный ты человек? – многозначительно спросил он его вполголоса.

– Это от случая: каков, значит, случай, а впродчим, для товарищей – верный.

– И голова твоя забубённая?

– Семи смертям не бывать, одной не миновать, в жизни да в смерти – один господь волен да повинен.

– Так-то, так! Да дело твое, слышно, очинно уж скипидарцем попахивает и скоро, значит, решат.

– Сказывают, будто так.

– Н-да... Я вот и сам решенья жду себе. Тоже, поди, чай, не помилуют... Ежели бы удрать-то можно отселена!

³⁵³ Щепетный – щегольский, нарядный (жарг.).

– Кабы-то удрать!.. Не удерешь.

– А нешто хотел бы?

– Кабы не хотеть-то!.. Да ничего не поделаешь.

– Один не поделаешь, а вдвоем – выгорит!

Арестант поглядел на Гречку недоумелым и недоверчивым взглядом.

– Хочешь в товарищи? – с ониму³⁵⁴ предложил ему Гречка. – Я удеру беспрерменно.

– Да ты уж мне болтал об этом, только пока еще все ничем-ничего! Удрать... Да как удрать-то? Кабы знал, так и сам бы давно уж ухнул!

– А уж про то – мое дело!.. Ты мне скажи только: хочешь аль нет?.. Человек-то ты, сдастся мне, подходящий; с тобой эту штуку можно обварганить.

– А подходящий, так работи: согласен! Только, когда же?

– Да сейчас! Чего ждать-то?

– Ну, полно врать!

– Как перед истинным!.. Деньги есть у тебя?

– Семь рублей припрятаны, с собою.

– Да у меня двадцать: онамедни на картах взял – значит, хватит про обоих. Теперь ступай к Мишке Разломаю да водки два полштофа купи... И вот еще что... Как бы самдурнинского добыть?

– У него есть, да не отпустит, шельмец, дешево, а я знаю, что есть... Ему тут один благоприятель с воли протаскивает.

– Вымоли хоть Христа ради, что ли... Ведь он на тот случай, ежели кому в лазарет идти вздумается, затем только и держит.

– Известно, а то зачем же больше? Так сказать ему нешто, что мы с тобой на белых хлебах с недельку проваляться задумали, ну, и вот, мол, болезнь перед дохтуром оказать надо.

– Верно, голова, верно! Так и звони ему, только торгуйся, а то сразу заломит цену собака. Больше двух рублей не давай.

– Ладно!

И подговоренный отправился исполнять поручение.

Прозывался тот арестант Китаем... Фамилия или кличка у него была такая – неизвестно, только кличка в этом случае совсем пришлась по шерсти. Китай был сухощавый, сутуловатый и долговязый детина, а узкие глаза да широкие скулы, действительно, придавали его физиономии нечто среднеазиатское, дикое и отважное. На сей раз Гречка не ошибся в выборе товарища: он держал расчет на то, что плети и путешествие за бугры для этого человека дело еще новое, непривычное, от которого он весьма непрочь бы увильнуть – лишь бы представился случай, а эта дикая отвага и служила для него некоторой надеждой, что Китай не призадумается над исполнением предложенного предприятия. Так и случилось. Мишка Разломой отпустил ему за пять рублей требуемое количество водки и под величайшим секретом добрую щепоть дурмана. В уединенном месте Гречка поставил на караул Китая, а сам тем часом высыпал порошок в один из полштофов, взболтал его хорошенько и, запихав свою фабрикацию в правый карман шаровар, а нефабрикованную водку в левый, отправился вместе с Китаем исполнять задуманное дело.

– Ты уж только помалчивай – гляди да смекай, что я стану творить, а сам не рассуждай – неравно еще напортишь, – заметил он, отправляясь в коридор, где помещались арестантские карцеры татейного отделения.

В некоторых из этих карцеров вольные слесаря замки починяли. Всех их было три человека.

³⁵⁴ Сразу; термин карточной игры, означающий – выиграть сразу, с первой же карты, все деньги, стоящие на кону.

– Куда вы? Чего вам тут надо? – крикнул один из них, заметив, как Гречка с Китаем проскользнули в один из затворенных карцеров. Гречка чуть-чуть выставил голову из-за притворенной двери и, сделав подмастерью предупредительный знак к молчанию, стал осторожно манить его рукою.

– Чего те надобно? – спросил его слесарь, подойдя к двери.

– Тихо!.. Тихо ты!.. – шепнул ему Гречка. – Чего горланишь-то?

– Да ты зачем, говорю?!

– А вот с приятелем... два полштофа распить желательнее бы... Я ноне именинник.

– Проваливай! Вам тут пить, а с нас взыскивать станут; скажут: зачем, мол, дозволили да не довели... Уходи, что ли, пока добром те просят!

– Эх, приятель, хорошо тебе так-то рассуждать, а мы – люди подневольные. Ты, чай, именины-то не день, а три дня справлять себе будешь, а нашему брату-заключеннику уж и рюмчонку украдучись хватить невозможно!.. Душа твоя христианская, ведь и мы человеки есть тоже!

– Да коли нельзя!.. Ну, ступай в другое место!

– Эх, милый человек! Нет у нас другого места. А ты вот что: хочешь – вместе с нами хватить, да заодно и товарищев кликни. Уж мы, так и быть – куда ни шло! – один полштоф на троих пожертвуем; только не горланьте да не гоните, братцы, а мы эдак потиху-посладку, чтобы, значит, никому не обидно было.

Подмастерье крикнул двух остальных работников, и все впятером заперлись в темном карцере. Гречка запустил руку в правый карман и, отдавая подмастерью посудину, еще раз потряс ее в воздухе:

– Эвона какая! Гляди, ребята: помаранчик горестный!.. А это нам, брат, с тобою, – прибавил он, вынув второй полуштоф.

– За здоровье именинника!.. С ангелом!.. Чтобы недолго коптеть, поскорей улететь! – поклонился Китай и стал медленно влечь тянуть через горлышко.

Слесаря не заставили просить себя вторично я, обрадовавшись неожиданному и притом даровому полуштофу, с жадностью последовали примеру Китая.

Порция дурману была весьма достаточна для того, чтобы всех троих ошеломило почти сразу. Через пять минут один из них повалился без чувств, другой начинал уже засыпать в углу, а третий, без языка и движения, столбом стоял на месте, в состоянии мухи, опившейся табачным настоем. Повалить его на пол, раздеть двоих, и всем троим завязать рты платками, а руки да ноги крепко перепутать снятым с себя арестантским платьем было дело каких-нибудь шести-семи минут для двух арестантов. Сполна облекшись в костюм опоенных слесарей и захватив с собою весь их инструмент, Гречка с Китаем, как ни в чем не бывало, бойко и бодро пошли по коридору татейного отделения. Одну только жилетку свою, приобретенную как-то в тюрьме, не скинул с себя Гречка, потому что в подкладке ее были зашиты его деньги да в боковом кармане оставлены про запас, на всякий случай, две рублевые ассигнации.

На дворе начинало уже темнеть, а под тюремными сводами и подавно господствовал вожделенный для беглецов сумрак.

– Там подмастерье наш остался еще: кончает... Он и расчет в конторе должен получить, – мимоходом отнесся Гречка к коридорному подчаску, проходя мимо его двери и нарочно изменив свой голос.

– А вы-то куда же, не дожdamшись? – полюбопытствовал тот, пропуская обоих.

– А мы зашабашили... в баню нонче хотим, – отозвался Гречка, не обертываясь и прехладнокровнейшим образом спускаясь с лестницы.

Точно так же неторопливо и, по-видимому, беззаботно вступили они на большой тюремный двор. Но что перечувствовали оба, и особенно Гречка, для которого в эту минуту осуществлялись долгие, заветные и самые страстные мечты его! Сердце билось до того, что дух

захватывало, колени дрожали и подкашивались от тревожного страха и опасений, что вот сейчас накроют, и от жгучей радости перед вольною волею, которая ожидает впереди – и всего-то через несколько шагов за воротами! Гречка сосредоточил теперь весь свой ум, характер, всю твердость и силу воли, чтобы вполне хорошо разыграть принятую роль и не выдать себя тюремщикам. В этот решительный и сильно страстный момент сдержанно скрытых, но самых разносторонних ощущений, Гречка усиленно чувствовал жизнь, усиленно переживал ее всем существом своим.

Вдруг на дворе повстречался один долгосидельный арестант, проходивший из конторы на свое отделение. Арестант знал в лицо Осипа Гречку, и Гречка точно так же знал арестанта.

Не дойдя два шага до беглецов, последний остановился и, пропуская их мимо себя, изумленно и взглядчиво всматривался в физиономию Гречки.

Этот почувствовал, как по спине побежали холодные мурашки.

– Кажись, как быдто Гречка! – пробурчал арестант сквозь зубы, но настолько внятно, что беглецы могли расслышать его слова.

Они прошли мимо, будто не заметя встречного и не относя на свой счет его замечания.

– Эй!.. Приятель!.. Гречка! – окликнул их вдогонку знакомый.

Те продолжали идти, но в ту же минуту услышали за собою быстро приближающиеся шаги.

– Стой! Не то закричу тревогу! – в обыкновенный голос сказал арестант, нагоняя.

Хочешь, не хочешь – пришлось остановиться.

– Ты что это, приятель?.. Пошто наряд обменял? Аль лататы задаете?

– Бога в тебе нет!.. Иди, знай, своею дорогою! Не замай нас! – с укоризной и мольбой прошептал ему Гречка.

– Нет, брат, сам не замай! Дай прежде слам сорвать. Ты ведь мне не друг, не закадыка, – так мне что за расчет жалеть тебя! Деньги есть?

– Самая малость...

– Давай половину! И за себя, и за барина, да скорее!

– На, грабитель! – с ненавистью сказал Гречка, поспешно сунув ему в руку рублевую ассигнацию из запасных.

– Ладно! Сам таков же! – нагло усмехнулся арестант. – С паршивой овцы хоть шерсти клок. Ну, теперь махайте себе с богом! Мое дело сторона.

Вся эта сцена разыгралась менее чем в одну минуту. Гречка с Китаем пошли было далее, но, едва отмерив с десяток шагов, опять услышали за собою повелительное: «Стойте!»

Они продолжали идти, не оборачиваясь, а в это время один из тюремных солдат, видевший издали всю предыдущую сцену, бежал навстречу арестанту, сорвавшему слам, захватил его на пути и кричал теперь: «Стойте!» – махая рукой часовому, чтобы тот остановил идущих. Но так как все это происходило у них за спиной, то они слышали только крик, не зная его причины и делая вид, будто он вовсе не к ним относится, продолжали идти, стараясь придать своей походке спокойствие и твердость, как вдруг выступивший из-за будки часовой быстро взял ружье на руку и штыком перегородил им дорогу.

Опять поневоле пришлось остановиться и даже изумленным видом замаскировать свое положение.

А время, удобное для побега, меж тем все уходит и уходит, тогда как до главных ворот остается каких-нибудь шестьдесят шагов.

– Вы что за народ? – накинулся на них догнавший тюремный солдат, приведя с собою за рукав и арестанта, получившего деньги.

– Народ мы божий, господин служба, по слесарской части, – собрав все присутствие духа, ответил Гречка.

– А зачем с арестантом останавливались? Что у вас с ним за дела?

– Да мы... мы это так, мы, собственно, ничего, – проговорил беглец, не зная, что отвечать на заданный вопрос.

– Вы ничего?.. А что вы ему в руку сунули?

Гречка в миг сообразил, что, быть может, этот самый вопрос был уже раньше сделан им попавшемуся арестанту, который, весьма вероятно, что-нибудь уже и нашелся ответить ему, а что ответил – про то пока бог святой ведает! И скажи теперь Гречка что-нибудь другое, да скажи невпопад с прежним ответом – дело его испорчено вконец – и прости-прощай самая мысль о побеге, а главное, о заветной цели его! Сообразив это положение, он поневоле замялся и медлил отвечать на прямой и настойчивый вопрос солдата.

– Что ж ты бельмы-то выпучил, аль язык застрял в глотке? Говори, что ты ему в руку сунул?

Положение с каждым мгновением становилось все более критическим, если бы в ту минуту захваченный арестант не догадался выручить, впрочем, из совершенно своекорыстной цели: скажи, что содрал с них рубль, так и рубля бы лишился, и в ответчики по делу о побеге попал бы – потому, знал, мол, и не остановил, и тотчас не донес по начальству.

– Я, ваша милость, Христа ради попросил у них, – ответил он, скорчив смиренно-жалкую рожу, – они мне – спасибо! – семитку подали.

– Семитку?.. А вот я погляжу, какая-такая семитка! Может, вместо семитки, да ножик аль другое что. Вы ведь народ-то дошлый!.. Выворачивай карманы!

– Ваша милость! Мы люди служащие... нам время – отпустите нас! – обратился к солдату Гречка, и в ту самую минуту, пока солдат, слушая эти слова, глядел на говорившего, арестант незаметно и ловко сунул себе в рот рублевую бумажку, а на ладонь выложил действительно медную семитку, составлявшую, вероятно, его прежнюю собственность.

Тем не менее солдат ощупал его платье, осмотрел его вывороченные карманы и, удостоверясь, что кроме семитки у арестанта ничего больше не имеется, отпустил его.

– А вы, дружки, марш в контору! – прибавил он, относясь к беглецам. – И вас ведь тоже осмотреть надобно.

– Да за что же нас? Нешто мы воры какие? Мы не знали, что здесь нельзя милостыню подавать, он ведь Христа ради просил.

– Нечего толковать! Ступай!

Со стороны тюремного солдата это, без всякого сомнения, была одна только придирка, на которую, быть может, и он имел какие-нибудь свои расчеты, хотя и нимало не сомневался, что две стоящие перед ним личности – действительно слесаря.

– Да нам что ж, мы, пожалуй, пойдем, – нехотя согласился Гречка, – а только это совсем понапрасну. Обыскивайте здесь, коли угодно, при нас ничего здесь нет.

– Ну, мы там это увидим.

– Эх, беда наша горе! И милостыню-то грех подать!.. Нам время-то дорого: мы вот тут дела свои справили, а теперь бы нам своей вольной работой призаняться.

– В конторе, чай, ждать заставят, пока начальство, пока что, – ввернул слово Китай.

– И подождешь – не беда!

– Ну, вечер, стало быть, и упустишь! – с досадливым сожалением цмокнул Гречка, почесав затылок. – Слышите, кавалеры? Уж не держите вы нас! Ей-богу, недосуг – мы бы теперь-то на себя кое-что поработали, а эдак-то занапрасно и время уйдет, а денюгу не зашибешь.

– Уж мы вас поблагодарим, – убажрал Китай, в свою очередь, – только, значит, нельзя ли отпустить!

– Какая с вас благодарность! – усомнился тюремный солдат, однако, не без некоторой надежды на ее осуществление.

– Да вот – все, что есть с собою – две гривенки, примите, не побрезгуйте – сказал Китай, вынимая из кармана два медяка. – Мы, значит, на благодарности не стоим, потому нынче, ежели только время не упустить, так мы свое наверстаем.

Солдат на ходу принял из руки в руку благопредложенную благодарность и отвязался.

«Господи! Сколько времени-то ушло из-за этого дьявола!» – с досадой и замиранием сердца думал Гречка, приближаясь к тюремным воротам.

– Стой!.. Вы куда? – остановил их подворотня уже у самого выхода.

– Чего «стой»?! – смело встретился с ним глазами Гречка. Потеря времени, и страх, и досада на все эти препятствия придали ему еще более дерзкой решимости. – Чего «стой»? Ты, брат, служба почтенная, стойка-то этак на своих, на арестантов, а мы люди вольные.

– Какие-такие люди-то? Что вы за люди? Эдак-то, пожалуй, часом и беглого пропустишь.

– Какие люди... Не видишь разве? Майстровые³⁵⁵... слесаря... Пусти же, что ли, черт!.. В баню пора.

– Ты, любезный, не чертыхайся. Надо наперво узнать да дело толком сделать. Кто там с вами растабарывал? Седюков, кажись... Эй, Седюков! Поди-ко сюда! Дело есть! – махнул подворотня, крикнул через двор тому самому солдату, который только что получил благодарность.

Опять пришлось дожидаться, пока Седюков, неторопливым шагом, с того конца двора направляется к подворотне.

А время все идет да идет, и каждая минута становится все более опасной для беглецов – могут хватиться их, могут наткнуться в карцере на напоенных слесарей, тотчас же тревога, погоня – и все пропало от одной какой-нибудь минуты, когда чувствуешь уже, так сказать, запах этой желанной воли, когда ясно уже различаешь движение и гул, и уличный грохот городской вольной жизни.

Это были для Гречки жуткие, кручинные, сокрушительные мгновенья.

– Вот, ваша милость, не хотят пропускать, – поторопился Гречка обратиться к подошедшему Седюкову, желая предупредить излишние вопросы подворотни и разные дальнейшие объяснения, которые только оттянули бы время.

– Пропусти их, это слесаря, – как бы мимоходом вступился Седюков таким уверенным тоном, который не допускал сомнений.

Подворотня удовольствовался его заявлением – и тюремная калитка в воротах беспрепятственно отворилась перед беглецами.

Половина тяжелого груза свалилась с Гречки. «Слава-те господи! Двое дураков поверили, да один выручил», – помыслил он с невольной улыбкой великого удовольствия, почувствовав, что калитка захлопнулась за ними.

– Вы слесаря? – остановил их внезапный вопрос, едва лишь они успели сделать каких-нибудь два шага по тротуару.

Беглецы, нежданно-негаданно, у самых ворот столкнулись к носу с одним из тюремных начальников, возвращавшихся домой в тюремное здание.

– Вы из тюрьмы, с работы, что ли?

– С работы, ваше высокоблагородие, замки у карциев поправляли.

– Знаю, знаю. Вы где же работали, на каком отделении?

– На татебном, ваше высокоблагородие.

– А на первом частном кончили?

Гречка немного замялся от неожиданного вопроса и хватил наудалую:

– Кончили, ваше высокоблагородие.

– Ну, хорошо, ступайте себе...

Те сделали еще два-три шага.

³⁵⁵ Мастеровые.

– А впрочем, нет!.. Пойдите-ка минуточку. Там у меня в квартире, на окошке одном больно удав задвижки ослабли, несколько не действуют; не запираются даже, а по ночам дует. Вернитесь-ка, поправьте заодно уж. Я заплачу.

– Позвольте, ваше высокоблагородие, уж мы бы завтра пораньше... в лучшем виде справим, – отбояривался Гречка.

– Ну, вот вздор! Это такие пустяки – на десять минут работы, не больше. Ступайте-ка, ступайте!

Нечего делать – пришлось снова обратно переступить за порог тюремной калитки.

У Гречки уже мучительно стало ныть сердце, вместе с гложущей болью под ложечкой.

Но лишь пошли они по коридору, как к офицеру подошел фельдфебель тюремной команды, с донесением о каких-то хозяйственных надобностях.

– А, кстати, на первом частном уже справлены замки, завтра надо оглядеть по всем остальным отделениям, – отнесся к нему офицер, между прочим подходящим разговором.

– Никак нет, ваше высокоблагородие, нынче еще не справлены, – возразил фельдфебель.

– Как так? А ты же мне сказал, что уже кончил? – обернулся тот непосредственно к Гречке.

– Помилуйте-с, там самая малость осталась, – ответил этот, стараясь стать в тени, чтобы фельдфебелю не так удобно было разглядеть его физиономию.

– Расчет вы получили? – спросил начальник.

– Нет, не получали еще...

– Так пойдем в контору – заодно уж, чтобы после не возвращаться. Да пойдите, однако, – снова обернулся он к двум сотоварищам, – ведь вас, кажется, трое было? Третий-то где же?

– Позвольте, ваше высокоблагородие, – вмешался фельдфебель, с некоторой подозрительностью оглядывая беглецов, – сдается мне, как будто это не те, что утром были, а какие-то другие...

Для Гречки и Китая наступила самая опасная минута: возбуждено уже два сомнения, из которых последнее, того и гляди, в состоянии разрушить весь маневр и выдать их с головою. Надо было снова собрать все огромное присутствие духа, измученного уже тем рядом тревожных впечатлений, которые только что были перечувствованы, надо было сильное умение владеть собою, чтобы не потеряться в первый момент сомнения, чтобы умно и ловко извернуться и отпарировать удар, столь опасно направленный.

– Те двое ушли еще с после-обеда, – спокойным голосом объяснил Гречка, – а нас хозяин на смену прислал: те у него хорошие подмастерья, так он их к князю Юсупову в дом на работу справил: требовали нонче. А третий товарищ кончает еще на татебном, он и расчет должен получить.

– Да как же это вы проходите в тюрьму, когда никто и не знает об этом? – несколько строго спросил начальник.

– Никак нет-с, ваше высокоблагородие, – поспешил возразить ему Гречка, – нас давеча под воротами пропустили, как следует: и опрашивали, и осмотрели всех... Мы объявились там...

– Ваше высокоблагородие, – запыхавшись вбежал в коридор один из приставников, двое арестантов убежали.

Гречка с Китаем со страху чуть было на землю не присели и в миг сделались белее полотна.

– Как убежали?! – встревожился начальник.

– Убежали с подсудимого отделения в пекарню и там в кровь изодрались.

У беглецов немножко отлегло от сердца.

– Что ж ты, дурак, пугаешь только понапрасну!.. Я думал, и нивесть что случилось... Запереть обоих в карцер! Или нет: я сам пойду туда, а вы обождите здесь! – промолвил офи-

цер, обращаясь к Гречке и Китаю, за исключением которых все трое поспешно удалились из коридора.

Гречка выждал с минуту и решительно мигнул своему товарищу:

– Идем!

– Ну, что, закончили? – безучастно, ради одного только чесанья языка, окликнул их перед калиткой подворотня.

– Слава-те, господи, наконец-то отделались! – махнул рукою беглец, вторично переступая порог Литовского замка.

* * *

Тюрьма и неволя остались позади. Но пока виднелось это неуклюжее здание, со своими плотными, приземистыми башнями, Гречка не смел предаться радости; он ощущал только волю, и радоваться было еще рано: погоня могла последовать каждую минуту. Хотелось бы скорей и скорей бежать ему – мчаться прытче лошади, лететь быстрее птицы, а между тем нужно было идти спокойно, ровной походкой, чтобы не навлечь на себя каких-либо случайных подозрений.

У Никольского рынка Гречка остановился.

– Ну, брат Китай, теперича мне налево, тебе направо, либо тебе направо, а мне налево, понял? – обратился он, решительным тоном, к своему спутнику. – Может, доведет господь, где-нибудь и повстречаемся... Денег-то у тебя маловато, так на тебе слесарский инструмент в придачу: продашь, авось пустяковину какую выручишь, а теперь – спасибо за компанию!.. Прощай, брат!

И он, круто повернувшись от своего товарища, быстро зашагал по направлению к Сенной площади.

LXX

ГРЕЧКА ВСТРЕЧАЕТ СТАРЫХ ЗНАКОМЫХ

Очутившись на этой площади, беглец остановился в раздумьи. Куда теперь направиться и что предпринять? Прежде всего есть, как некормленной собаке, хотелось, поэтому Гречку обуял великий соблазн полакомиться пищей вольной, выбранной по собственному вкусу и прихоти, после стольких месяцев скудной арестантской еды, и он направился в «Утешительную». «По крайности пожрешь в самую сласть и песельников с музыкой послушаешь впридачу».

Как-то странно и дико почувствовал он себя на первый раз после долгого заключения среди «вольных» людей и в «вольном» месте; опять же и опасался несколько, как бы его не признал кто-нибудь, как бы молва не пошла промеж темного люда о его внезапном появлении: первое время беглый всех и всего опасается, пока не привыкнет к своему положению.

Скромно усевшись в один из темных углов, он принялся уже за соображения, чего бы лучше съесть: поросенка ли заливного или яичницу с ветчиной, как вдруг к столу подошел посторонний человек и пристально стал против него.

– Да нешто это ты, Осюшка? – спросил он тихо и удивленно. – Какими ветрами занесло?!

Перед Гречкой стоял сановитый, седобородый старец, с благочестивым и добродушно строгим выражением лица. Это был патриарх мазов.

– Пров Викулыч!.. Батюшка!.. – воскликнул Гречка, простирая к нему обе руки. Присядь, благодетель! Да только не кричи: я ведь здесь пока еще под секретом.

– Как под секретом? – сдвинул старик свои седые брови. – Али ты лататы от дяди задал? Гречка утвердительно кивнул головой.

– Юрок, брат, юрок! – не без удовольствия закачал головой Викулыч. – Как же теперича жить-то? Бирка³⁵⁶ нужна!

– Точно, нужна. Липовый глазок³⁵⁷ надобно добыть...

– Да это тебе не штука, а покамест-то как, до картинки³⁵⁸! Не гопать³⁵⁹ же, чтобы влопаться.

– Да я уж к твоей милости! – просительски поклонился Гречка. – Уж так-то радешенек, что встренулись!..

– Чего ж те надоть? – спросил Викулыч.

– Затынь³⁶⁰ ты меня, отец, хоть до завтрева! Оглядеться на воле надо бы спервоначалу... Оболочься, – тоже накидалища³⁶¹ какое ни на есть, опять же и голубей³⁶², да шифтан³⁶³, а в этом наряде – того и гляди – признают!

– Это могу, – охотно согласился патриарх мазов. – Так нечего тебе тут ухлить³⁶⁴ задаром, а хряй-то³⁶⁵ скорей на мою домовуху: там не мокро³⁶⁶, по крайности! – предложил он.

– Похрястать хочу, – заметил Гречка.

³⁵⁶ Паспорт (жарг.).

³⁵⁷ Поддельный паспорт (жарг.).

³⁵⁸ Вид, паспорт (жарг.).

³⁵⁹ Шататься по улицам (жарг.).

³⁶⁰ Спрятать (жарг.).

³⁶¹ Верхняя одежда (жарг.).

³⁶² Белье (жарг.).

³⁶³ Кафтан (жарг.).

³⁶⁴ Глазеть (жарг.).

³⁶⁵ Уходить (жарг.).

³⁶⁶ Опасно (жарг.).

– Туда и хрястанья³⁶⁷ и кановки³⁶⁸ закажу принести, а здесь, говорю, нечего тебе скипидариться³⁶⁹, зенек-то чужих тут не занимать стать.

И едва старые знакомцы успели выйти из комнаты, направляясь ко внутренним закоулкам «Утешительной», чтобы оттуда «невоскресным» ходом проюркнуть на квартиру патриарха, как вдруг им перегородил дорогу еще один старый знакомец.

– Аль мерещится мне? – воскликнул Фомушка-блаженный, растопырив свои лапищи навстречу Гречке. – Друже мой! Се ты ли еси! Тебя ли зрю очесами своими?

– Брысь ты, окаянный! – строго притопнул на него старец.

– Иерарх! – шутовски воскликнул Фомушка, приложив руку ко лбу и вытягиваясь во фронт, по-солдатски. – Тебе убо и честь, по чину патриаршему, дондеже подобает, а подобает сия вовеки! – промолвил он, отвешивая низкий поклон Викулычу.

– Начнет звонить, пожалуй... Нешто и его пристегнуть с собой? Суше дело будет, – тихо посоветовался Викулыч с Гречкой и кивнул Фомушке – идти вместе с ними.

– Ты мелево-то подвяжи, нечего болтать промеж народом, – обратился к нему патриарх, – дело ведь тайное!

– Э, э, э!.. Стал быть, кума от ткача задала стрекача!.. Ладно! Смекаем!

– А ты, любезный, как живешь-можешь? – осведомился Гречка у блаженного.

– Мы-то?.. Э, мы живем припеваючи! – разудало вздернул свою голову Фомка. – Спасибо тюремной сердоболице! В богадельню поместила – там и проживаем, да кажинную неделю к родным и знакомым отпрашиваюсь у начальства. Ну, и ничего: отпускают. Я, первым делом, родных себе подыскал да прикупил, а заместо родных по-прежнему валандаешься промеж теплых людишек. Ино и день, ино и два, и три проживешь.

– А не взыскивают за отлучку? – спросил его беглый.

– Чего там взыскивать?! Им же лучше: по крайности порция моя остается в кармане. Мне что? Мне теперь ничего, одно слово – благоденствую!

Пришли в квартиру Викулыча, в которой слегка припахивало ладаном, а перед яркими образами неугасаемая лампадка теплилась, и во всем кидались в глаза чистота и порядок с чисто-русским характером. Патриарх прежде всего передел Гречку в иное платье, потом заставил его сходить к цирюльнику, чтобы радикально изменить свою физиономию, и затем уже, снова придя к Викулычу, Гречка застал у него на столе и пиво с водкой, и поросенка с яичницей.

Викулыч, покалякав некоторое время о Гречкиных делах да о том, какими судьбами удалось ему удрать из тюрьмы, откланялся и снова ушел в «Утешительную». «Вы, мол, хоронитесь тут, а я пойду на людей поглазеть да всякую новость послушать». Хитрый Викулыч, между прочим, про себя сообразил и то обстоятельство, что ежели бы, какими ни на есть судьбами, двоих благоприятелей накрыли у него на квартире, или же если бы как-нибудь потом оказалось, что у него тотчас же после побега привитал приятель Гречка, так я, Викулыч, ничего, мол, не знаю и не ведаю, меня, мол, и дома тогда не было, а был я в это самое время в «Утешительной», и все, мол, сие произошло в мое отсутствие, помимо моей воли и ведома. Таким образом, беглец очутился с глазу на глаз с блаженным, в уединенной квартире, где можно было о чем угодно говорить, не стесняясь!..

В голове Осипа Гречки тотчас же вспыхнули новые мысли и предположения.

³⁶⁷ Есть (жарг.).

³⁶⁸ Водка (жарг.).

³⁶⁹ Рисковать (жарг.).

«Одному идти на кладбище... страшно да и несподручно работать-то будет, – размышлял он сам с собою, – захороводить³⁷⁰ нешто Фомку? Вдвоем все же вольготнее как-то, и дело скорей да спорее пойдет».

«А ежели навеки навяжешь себе на шею этого дьявола?» – мыслил он далее насчет блаженного. – Век с сим не развяжешься даром! Кому тогда владеть фармазонскими деньгами? Ведь он, пожалуй, захочет? Да и наверняка захочет, так что и не открестишься от него: коли работали вместе – значит и слам дели на двух!.. Это правильно».

«А из-за каких великих благ и милостей стану я делиться, да и как тут поделишься, коли это, значит, рубль неразменный – один только рубль?.. Даром не пойдет – посулить придется, потому, ежели одному идти... боязно как-то, ведь не на живого человека пойдешь, а на мертвого».

«Сказать ему нешто так вон: один месяц – я пользуюсь, другой – ты, а там опять-таки я. Этак-то согласится».

«Ну, а затем-то как у нас будет дело? Не отдавать же ему и в самом деле!.. Что ж!.. Затем... затем, коли больно уж станет приставать – затемню³⁷¹ его, да и баста! И нечего будет ждать, чтобы стал приставать, а просто в ту ночь, либо на другой день и покончу его!»

Все это было соображено в голове Гречки, конечно, неизмеримо быстрее, чем мы успели передать. И приняв такое решение, он весьма таинственно сообщил Фомушке свои намерения касательно добычи фармазонских денег. Блаженный выслушал его очень внимательно, вспомнил рассказы Дрожина – бывалого и дошлого человека в подобных делах, и немедленно, с великой радостью, дал свое полное согласие. Он уже гораздо раньше подумывал, что дело с фальшивыми бумажками графа Каллаша, должно быть, совсем не удастся, что больших барышей тут верно не жди, а потому не отказался от предложения Гречки, которое показалось ему гораздо привлекательнее. «Стоит только раздобыться этими фармазонскими денежками, – сообразил он сам с собою, – а там уже мне никаких бумажек не надо!»

³⁷⁰ Подговорить (жарг.).

³⁷¹ Убью (жарг.).

LXXI

МИТРОФАНИЕВСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Было время, когда Петербург боялся холеры. То были дни всеобщего уныния и скорби. По всем улицам города то и дело тянулись черные, погребальные дроги, дымились факелы, мелькали траурные ризы духовенства при «богатых» похоронах, при бедных же ничего не мелькало и не дымилось, потому что из всех городских больниц два раза в день, рано утром и перед вечером, отправлялись ломовые телеги, нагруженные, словно перевозной мебелью, простыми тесовыми гробами. Народ в ужасе метался по улицам, подозревал измену, громко говорил об отравках, останавливал экипажи докторов, в которых, без исключения, подозревал «жидов» и немцев, с яростью кидался на злосчастных сынов Эскулапа, так что «блустительница общественного спокойствия» ровно ничего не могла поделать, и все это разразилось наконец волнением, известным под именем «бунта на Сенной», где перед церковью Спаса раздалось тогда знаменитое «На колени!» императора Николая. Холера была новой гостьей, которую народ считал почти что чумою, если еще не хуже. Боялись хоронить холерных на общих городских кладбищах, и потому за городской чертой, в уединенной и пустынной местности, между двух триумфальных арок – Московской и Нарвской – назвали новое кладбище «холерным».

Это было в 1830 году.

Ровная низменная местность, с петербургски-болотистой почвой, и без того представляли вид, наводящий скуку и уныние, а с тех пор как по ней замелькали низенькие белые кресты, стала еще угрюмее. «Нива смерти» приумножалась с каждым днем, и с тех пор все растет непрестанно, утучняемая петербургскими тифами, чахотками, возвратной горячкой и тысячью иных эпидемий, которые составляют существенное свойство климата.

В 1830 году на месте холерного кладбища не было ни церкви, ни даже часовни, а просто стоял высокий деревянный крест. Перед этим крестом ставили на землю длинные ряды гробов, священник наскоро отпевал заупокойную литию, и вслед за тем носильщики торопливо разносили своих вечных гостей по глубоким мокрым ямам, зарывая их чаще всего в одну общую пространную могилу.

Жила в то время в Петербурге одна женщина, по имени Хаврония, крепостная шереметевская крестьянка села Павлова. Этой женщине пустынная местность обязана существованием самого кладбища и постройкой при нем бедной деревянной церкви. С неутомимой деятельностью и энергиею ходила она по разным присутственным местам, кланялась, просила, подавала бумаги, и наконец выхлопотала дозволение причислить отверженное «холерное» к числу прочих городских кладбищ и право построить там церковь, которая сооружалась на счет добродетельных подаяний, собранных ею по городу. Хаврония похоронена на этом же кладбище, но где? – с точностью неизвестно: кладбищенские старожилы говорят, не то – около церкви где-то, а не то – и в самой церкви, кажися; но нигде не видать надписи с именем основательницы, которая говорила бы о ее посильной услуге кладбищу, да и самая-то память о ней с каждым годом утрачивается все больше.

Теперь уже кладбище называется не холерным, а Митрофаниевским; недалеко от убогой, желтой деревянной церкви возвышается новая – каменная, златоверхая, где обыкновенно отпевают «парадных» покойников, а вокруг нее возвышаются мавзолеи, которые гласят мимоходящим любителям эпитафий о рангах, доблестях и заслугах отечеству разных здесь лежащих богатых мертвецов. О тех же, кои не отличались ни рангами, ни достатком, мавзолеи ничего не говорят, по той простой причине, что мавзолеев над ними не полагается: даже не всегда и желтый либо белый крест указывает убогую могилу, большая часть которых тесно стелется по земле, друг подле друга, чуть приметными бугорочками. И все ж таки Митрофаниевское кладбище представляет довольно оригинальный вид, особенно в ясный солнечный день. Если вам

случалось проноситься мимо него с той или с другой стороны, в вагоне варшавской либо петергофской железной дороги, вы не могли не заметить, что это плоское обширное поле кажется каким-то пестрым, необыкновенным лугом: белый, желтый, красный, синий, зеленый цвета во всевозможных сочетаниях так и мелькают вам в глаза своей рябющей пестротой – до такой степени усеяно поле это надгробными крестами. Вдали виднеется роща, над рощей – золоченые купола; но здесь, на этой пестрой плоскости – хоть бы одно свежее тенистое деревцо приютилось! Зато самое кладбище тем более выигрывает во внешнем сходстве своем с весенним клеверным лугом. Каждый год почти к весне отрезают новое пространство земли под могилы и каждый год почти, к следующей весне, оно уже является обильно засеянным буграми и крестиками.

Митрофаниевское кладбище – по преимуществу кладбище демократическое: тут хоронится петербургский пролетарий, тут же указано место и преступнику, и тюремному арестанту.

На другой день после побега двух арестантов, часу в первом дня, по дороге, ведущей к Митрофаниевскому кладбищу, плелась ленивым шагом ломовая кляча в телеге с тремя седоками. Первый седок, конечно, был ломовой извозчик, который лениво потягивал махорку из носогрейки и еще ленивее постегивал изредка свою лошаденку; второй седок не составлял собственно седока, а только поклажу: это был простой сосновый гроб, слегка мазнутый водяной охрой и привязанный веревкою к телеге; в гробу лежало тело Бероевой, а на крышке его помещался третий седок – тюремный инвалид с казенной книгой под мышкой.

– Они! – шепнул Гречка, осторожно толкнув под бок Фомушку, когда ломовик поровнялся с первым питейным заведением, что стоит на кладбищенской дороге. Неторопливо расплатясь у стойки, приятели направились к кладбищу, издали следя за этим нехитрым погребальным поездом.

– Ты, брат Фома, как привезут ее – пойди в притвор да гляди, куда поставят, – распорядился Гречка, – а мне оно не тово... неровно признает селитра³⁷², так уж для меня посуше будет меж могилками побродить пока.

– Что поздно приволокли? – отнесся к приехавшим могильщик, который калякал со столом, закусывая печенкой, у съестной лавочки, обвешанной мховыми венками и крестиками.

– Чего «поздно»? Как, значитца, отпустили, так и приволокли. Не рысью же скакать к вам! – отгрызнулся инвалид, слезая с гроба.

– Все же ко времени надо, чтобы покойник за обедню поспевал.

– И опосля вечерень похороните, ништо!

– Знаем сами, что опосля, да все же это непорядок: теперь, подика-ся, надо для его отдельную яму копать, денег-то нам за таких покойников не платят.

– Врешь, пес! От казны тридцать копеек полагается.

– Тридцать копеек... Велики деньги! Да еще лается!.. Тащи его, что ли, в притвор-то – пушай погреемся.

– И здесь не холодно.

– А не холодно, так там в тени постоит, у нас чего хочешь, того и просишь – ихнему брату всяко удоблетворение есть. А кто покойник-то: мужик аль баба?

– Арестантка.

– Это, впрочем, что мужик, что баба – все одно покойник... А когда померла-то?

– Вчера днем.

– Ну, вот опять-таки не по времени! Больно уж рано привезли! Трех суток еще нет ей.

– Пушай у вас постоит, а нам не держать же у себя-то.

– А нам нечто держать-стать?! Их тут и без того иной раз не знаешь куда и поставить – как куличей об христовой заутрене...

³⁷² Солдат, конвоирующий преступника (жарг.).

– Ну, да что ж толковать! Мертвый – все равно, не живой ведь! – порешил инвалид. – Коли помер, значит, не встанет, днем ли раньше аль позже – все едино, в ту же землю закопать придется.

И гроб внесли в притвор деревянной церкви, который примыкает к ней стеклянной галереей. Поставили на скамейку и заперли до вечерней. Инвалид получил из кладбищенской конторы расписку в приеме тела арестантки Юлии Николаевой Бероевой и поскакал с ломовиком в попутное «заведение».

* * *

В шестом часу, после вечерен, священник отчитал литию, и двое могильщиков понесли на плечах гроб Бероевой на самый конец кладбища, в последний «разряд», где обыкновенно хоронится в общих могилах тот люд, за который не полагается особенной платы. В этом последнем разряде реже, чем в прочих, торчат намогильные кресты, зато ряды бугорков несравненно чаще. Тут лежат бобыли, умершие в больницах, нищие, арестанты и люди неизвестного имени и звания, подобранные полицией на улице, после скоропостижной смерти. «Больше все потрошенный народ, – говорят про них могильщики, намекая этим на медицинское вскрытие. – Дружный народ: вместе их заодно отпевают, вместе в одну яму и кладут – помяни, мол, господи рабов твоих, имя же их там веси!»

Недалеко от кладбищенского забора была вырыта свежая и весьма неглубокая яма, на дно которой успела уже просочиться болотная вода. Когда гроб опустили, и на крышку глухо и грузно бухнулась первая глыба сырой земли, за которой в раздробь посыпались и застучали об дерево комья, мозг Бероевой пронизался подобием того ощущения, которое у живого человека называется страхом. Ей снова захотелось крикнуть, чтобы не зарывали ее, чтобы вечно оставили ее на земле, а не под нею, чтобы открыли крышку гроба; но глинистые глыбы и комья быстро валят одни за другими, удары их слышатся все глуше, потому что земля рухает уже на землю, а не на дерево гробовой крышки; но пока был слышен хоть кое-какой звук ее падения, Бероева все еще напрягала свой слух, жадно силясь доловить эти последние намеки надземной, живой жизни, сознавая, что каждая новая глыба могильной насыпи все больше и больше отделяет ее от этого покинутого мира. И когда земля перестала наконец падать в яму, зарытую женщину обуял наплыв новых грез и ощущений, вызванных, быть может, все тем же роковым вопросом: ну, что же, мол, теперь-то будет, когда все уже кончено?

И грезится ей, будто она давно уже лежит в этой могиле, будто несколько дней, несколько недель, несколько месяцев прошло с тех пор, как ее зарыли, и лежит она себе, и слышит, как могильный червь непрестанно точит гробовые доски; как земляная мышь прогрызла в крышке маленькую норку и побежала по ее телу, да в кожаный башмак засела и грызет подошву, желая полакомиться гнилою юфтою, как пауки по ее лицу – от бровей к губам и от губ к волосам густые нити паутины заткали; как, наконец, корни каких-то трав и растений поросли сквозь щели гроба и мало-помалу опутывают ее своими усцами, впиваются в тело, заползают в уши, в ноздри, в рот... наконец врастают во все это тело и втягивают в себя его питательные соки.

Но снова миновался кошмар и снова наступает проблеск самого ужасного сознания. В щели гроба стала просачиваться понемногу болотная вода, которою было покрыто дно могилы, и охватила уже своею холодною сыростью спину мнимоумершей. Это уже были не грезы, а действительность. Когда же наконец сознание погребенной получило большую степень ясности, какую только может допустить это исключительное физическое состояние, Бероевой явилась самая ужасная мысль: «А что, если это не смерть, если я заживо похоронена?» На земле она считала себя мертвою, но под землею, когда слух ее не возмущали уже никакие звуки жизни, а сознание меж тем все-таки проявлялось, ей пришла в голову почти полная уверенность, что она жива, что это не более как летаргия. Бероева почувствовала весь ужас трагической мысли,

что, быть может, ее скоро ждет пробуждение здесь, под землю, что она проснется, станет кричать о помощи, колотиться головой, руками и ногами в тесную крышу гроба – и на земле никто, никто не услышит и никогда не узнает про это. А быть может, ей суждено будет прожить таким образом не несколько мгновений, но несколько минут, прежде чем задохнуться от недостатка воздуха. О, если б можно было не просыпаться более, если б летаргия прямо перешла в настоящую смерть! А если уже суждено проснуться, то, – господи! – пусть это пробуждение придет как можно позднее, пусть дольше и дольше длится летаргический сон! Инстинкт жизни под землю преобладал более даже, чем на земле. И от этой нечеловечески-ужасной мысли для погребенной снова наступил переход в обморочную бессознательность.

* * *

Могильщики опускали и закапывали гроб, а в это самое время издали следили за ними два человека, которые, будто прогуливаясь, разбирали надмогильные надписи.

Когда же, окончив свою работу, могильщики удалились, два человека, не изменяя своего фланерского вида, подошли к только что засыпанной могиле и в головах воткнули высохший сук, на одной ветви которого моталась привязанная тряпочка.

– Место хорошее, удобное... – тихо проговорил Гречка, взглядываясь в соседние кресты, чтобы получше заметить, где именно находится свежая могила, и внимательно озирая всю окружающую местность.

– Хорошо-то оно хорошо: тихо, далеко, сторожа, поди, чай, и не заглядывают сюда, – отозвался блаженный, – да одно только неладно: забор этот больно высок... Откуда перебираться станем? Подумай-ко!

– Погоди, погляжу получше – может, и отыщем подходящее...

Невдалеке от этого места перерезывала кладбище неглубокая канавка, вдоль по которой, в направлении к забору, тихо направились теперь двое товарищей.

– Эге-ге! Вот оно самое и есть! – самодовольно воскликнул Гречка, дойдя до самого забора, под которым канавка уходила за черту кладбища, в соседние огороды. В этом месте, между нижней линией забора и дном канавки, пространство, аршина в два ширины и около полутора высотой, было весьма слабо загорожено кое-как прилаженными досками.

– Тебя-то нам и надо! – ухмыльнулся Гречка: – Давнуть легонько плечом – оно и подастся. И в канаве-то сухо – лужицы совсем, брат, нету, – продолжал он, делая дальнейшую рекогносцировку.

– Это значит, что из воды сух выйдешь, знамение так показывает, ты это так и понимай! – шуточно сообразил блаженный.

– По крайности не запачкаешься, – заметил Гречка.

– А мне это все единственно, что чисто, что нет – была бы душа моя чиста, а в теле чистоты не люблю.

– Стой-ка ты, чистота! – перебил его сотоварищ. – Гляди сюда, ведь по ту сторону забора Сладкоедушкины огороды выходят!

– Ой ли?.. Да и в самом деле, так! Вот любо-то! – ударил Фомушка об полы своей хламиды. – Вот удача-то!.. И возрадовался дух мой – значит, сила высшего споспешествует!

– Ну, уж ты от божества-то оставь – тут дело от луканьки пойдет, а ты с божеством некстати! – заметил ему Гречка.

– Главная причина в том, – продолжал Фомушка, – что ходить далеко не надо: прямо от Сладкоедушки и перелезем – чужие зеньки не заухлят³⁷³.

³⁷³ Чужие глаза не увидят (жарг.).

– Да к ней теперича и пошагаем, – порешил Гречка, выходя на дорожку, ведущую извилинами через все кладбище до самой церкви, – баба знакомая, и в приюте отказу не будет, а там у нее, значит, и схоронимся до урочной поры.

И Гречка с Фомушкой удалились с кладбища.

LXXII В ОЖИДАНИИ ПОЛНОЧИ

Оба приятеля вскоре пришли на пустынные огороды, к избе хлыстовской «матушки» Устиньи Самсоновны.

В маленьких сенцах над входною дверью виднелся небольшой медный восьмиугольный крест, а под ним, на верхнем косяке была начертана мелом затершаяся надпись: «Христос уставиися с нами».

– Господи Иисусе-Христе, сыне божий, помилуй нас! – проговорил Фомушка, постучавшись в дверь.

– А кто-ся там? – послышался изнутри разбитый старческий голос.

– Все мы же – богомолы-братья, люди божии, свой народ.

– Аминь! – ответил тот же голос. И Фомушка с Гречкой вошли в чистую и просторную горницу, с одной стороны которой стояла большая русская печь, с другой – помещалась кровать старика за ситцевой занавеской, потом – широкий дубовый стол и широкие скамьи по стенам, а в переднем углу – образная полка, с выглядывающими оттуда темными, древнего письма ликами, на которые, прежде всего, трижды перекрестились вошедшие и затем уже отдали по поклону хозяевам.

– Устинье Самсоновне!.. Паисию Логинычу! – проговорили оба, и получили точно такой же почетливый поклон от хозяев.

Паисий Логиныч подсыпал тлеющих угольев в медную кадильницу с деревянной ручкой и заходил с нею по всем углам комнаты. Воздух наполнился тонкими струйками синеватого дыма и запахом ладана.

– Отче! да это никак для нас, худородных, росной ладан изводишь? – заметил ему Фомушка.

– Дому израилеву фимиам благочестия подобает, – отвечивал старец докторально-богословским тоном, ни на кого не глядя и продолжая тихо колебать в руке свою кадильницу.

– С чем бог принес, братцы мои? Что скажете? – обратилась к ним хозяйка, оставляя шитье какого-то длинного белого платя.

– Да что вот... под твой, матушка, покров притекли, – со вздохом ответил блаженный. – Вы христороубцы у нас именитые, а мы люди малые... от агелов антихристовых из Вавилона треклятого спасаемся... В темнице ведь тоже за веру правую гонение принимали, во юзах заключенны были. Укрой нас, пока что, до странствия нашего – в верховную страну, на время пока переправляю новообращенного – чай, человек-то знакомый тебе? – добавил он, указывая на Гречку. – Ко столпам нашим усылаю: пуцай поживет там, да к вере укрепится. А ты прими пока!

– Охота – моя, а дом – божий, – ответила на это Устинья Самсоновна, – для брата нет отказа, хоронитесь себе, сколько нужды вашей будет. Милости просим!

– Спасибо, матушка!.. «Голодного напитай, гонимого приюти» – по закону, значит, поступаешь.

– Паужинать, может, хотите? – предложила хозяйка.

– Нету, матушка! До еды ли нам теперь!.. Опосля поедим, чего бог пошлет, а пока отведи ты нам келейку уединенную – целу ночь не спали, сон сморил совсем.

Устинья Самсоновна не заставила просить себя вторично и с охотою пропела обоих пришлецов чрез сени под лестницу, ведущую на чердак.

Здесь отодвинула она дощатый щит, который был устроен по той самой системе, как потайная дверь, ведущая в подызбище – и снаружи совершенно казался стеною, так что посто-

роннему человеку невозможно бы было и догадаться о его существовании. Фомушка с Гречкой очутились в тесном и темном тайнике, в котором они могли, впрочем, весьма удобно разлечься на больших мешках, вроде перин, набитых сеном.

– Ну, почивайте себе с богом, а проснетесь – потрапезуем все вкупе, – сказала им Устинья Самсоновна и снова задвинула вплотную потаенный щиток.

– Дело на лады пошло, кажись, клей будет, – шепотом сказал Гречка, потирая руки.

– А что, бойко хлыстом прикинулся? – также шепотом спросил блаженный, ощущая внутреннюю потребность в товарищеском одобрении.

– Уж что и говорить!.. Я только дивлюсь, откуда ты насобачился?

– Э, брат! главная причина – премудрость произойти, а тогда уж всякая штука перед тобою сама раскупорится, – с сознанием своего достоинства похвалился блаженный. – Я ведь тоже и сам хлыстом-то был, и по сей день у них в согласии числюсь, даже переkreщен был в Сибири-матушке – потому, дела у них важнецкие можно обварганивать.

– Это точно, – согласился Гречка, – и сам вот я, не думал не гадал, как свел было знакомство с Устиньей, а вот оно и пригодилось!

– Тебя-то они сманивали? – спросил Фомушка.

– Было дело!.. Да и как им не сманивать? Человек я тоже на все руки годящий! Только в те поры я ни да, ни нет не сказал, а все приглядывался.

– Э, брат, дурень же был! – заключил Фома с укоризной. – А ты бы по-моему, коли ты есть ловкий жорж, да человек разумный. Я вот даже архиерейские, братец ты мой, службы правил! И деньга же перепадала – ух, какая деньга-то обильная!.. Было, друг любезный, пожито... было! – со вздохом предался он воспоминаниям. – Да одна беда: зарвался! Провели добрые людишки, что я у поповщины за архиерея правлю и у бегунов наставником состою, оповестили, собаки, окружным посланием, что вор-де и самозванец нехиротанный, потому и веры имать не стали в архиерейство мое. С тех пор вот и пошел по мирскому уж православию во блаженных юродствовать!

– Это статья особая, – перебил его Гречка, – а ты мне теперича лучше вот что скажи: ты знаешь ли, где у Сладкоедушки струмент захоронен? Без лопаты ведь тут не обойдешься.

– Знаю! – махнул рукою блаженный и, перевернувшись на другой бок, через минуту захрапел безмятежным сном праведника.

Но Гречке не спалось. Его жгуче как-то донимала теперь обычная и столь долго лелеянная дума о деле, которое предстоит ему через несколько часов. Долго оно для него было страстной, но недостижимой мечтой, и вдруг – теперь, столь неожиданно, является возможность осуществить его.

«Храпи, Фома, храпи себе всласть, голубчик! – подумал он, нервно улыбаясь на собственную мысль. – Спать-то ты у меня, может, и завтра будешь, да только уж храпеть тебе вовеки не придется!»

* * *

Прятели выспались и поужинали вместе с двумя хлыстами.

– У тебя, мать, будут нынче наши ясные соколы в подызбище работать? – тихо спросил Фома Устинью, отозвав ее в сторону.

– Хотели, братец, быть, точно хотели. А что тебе?

– Осип-то у меня ничего, а про то не знает, – мигнул он на Гречку, – так ты уж, matka, от греха-то прихорони нас лучше в сарае у себя. Мы бы, значит, еще с часик передохнули там.

Хлыстовка провела их в надворный сарай, где у нее были сложены разные овощи и, между прочим, железные лопаты для огородной работы.

– Надо будет перегодить тут часа с два еще, пока полночь не станет, – заметил Гречка.

– Благо, лопаты под рукою! – откликнулся Фомушка. – А ждать-то можно, для чего не ждать? Я ведь лишь из-за лопат и ублажил Устинью, чтоб в этот сарай нас упрятала.

– Мозги! – не без внутреннего удовольствия, хлопнув слегка по затылку, похвалил его Гречка.

– Эх, кабы водки теперя!.. Жаль, недомекнулись утресь прихватить с собою! – спохватился блаженный.

– Н-да, хорошо бы хлобыстнуть перед работой-то. Нешто смахать?

– Далече. Ничего не поделаешь, и так уж обойдется дело!

Гречка прилег на груду Капустиных кочней, подстлав под бок валявшуюся рогожу, а Фомушка все время похаживал себе по сараю, мечтая о том, каких «вертунов» он настроит, раздобывшись фармазонским рублем, и, в темноте наступившего вечера, видел, как, с некоторыми промежутками времени и притом с разных сторон, в избу хлыстовки осторожно пришли четыре человека. Все четверо, более или менее, были знакомы ему.

LXXIII ГРОБОКОПАТЕЛИ

С дальней колокольни медленно потянулся в ночном воздухе тихий гул, по временам глухо относимый ветром в сторону, и эти удары колокола возвестили полночь.

Между грядками, украдучись, пробирались две человеческие тени, перерезывая огород в направлении к кладбищенскому забору.

– Забирай к канавке!.. к канавке норови!.. – шепотом говорил задний, указывая из-за плеча передовому, в какую сторону держать ему путь.

Перешагнув через несколько грядок, два спутника спустились на дно неглубокого рва и пошли вдоль его, стараясь как можно менее шлепать подошвами по вязковатой почве и не шурстеть в густой и высокой сорной траве. Этот путь привел их к забору, который пересекал канавку, уходившую из-под него на кладбище. Оба остановились. Фомушка хотел было уже сразу принапереть плечом, чтобы выдавить слабо прилаженную подзаборную загородку, но Гречка поспешно остановил его.

– Тс... куды-то лешего? – с шепотом сдвинул он брови. – Погоди... сперва послушать надо, не чуть ли там человека...

И, выйдя из канавы, он лег ничком на землю и, в глубоком молчании приложив ухо к почве, стал слушать.

Прошло минуты три.

– Ничего не чуть, кажися... шагов ничьих нету, – промолвил он, поднявшись на ноги, и снова, спустясь в ров, приставил ухо к одной из широких щелей дощатой загородки.

– Дай-кось эдак прислушаюсь... по земле не отдает, авось по ветру потянет.

– Да коего дьявола слушать еще?! – с неудовольствием шепнул нетерпеливый Фомушка.

– Голосу да шагов, значит... Ведь тут тоже могильщики чередуются – караулят: обход бывает, – пояснил Гречка, который в эту решительную минуту, в совершенную противоположность Фомушке, сделался вдруг необыкновенно сдержан, осмотрителен и осторожен, как будто вопреки своей старой и страстной мечте; но именно не что иное, как только страстная жажда осуществить вполне счастливо и без посторонней опасной помехи эту самую мечту заставила его теперь вести себя подобным образом: так игрок, ставя на последнюю карту последний рубль азартно проигранного состояния, осторожно ждет и выслеживает удачную талию.

– И по ветру не тянет... никого нет! – удостоверился наконец Гречка, и осторожно, почти без звука, стал медленно разбирать, одна за другою, дощечки канавочной загородки.

Вскоре проход, во всю ширину канавки и в полтора аршина вышины, был готов совершенно. Тихо, с лопатами в руках, переползли на кладбище двое сотоварищей и еще тише, еще осторожнее, почти ползком, пошли по дну, круто согнувшись корпусом вперед, из предосторожности, чтобы на поверхности земли сторожевой глаз не мог случайно подметить движение двух человеческих фигур.

Но это была почти излишняя предосторожность: сторожам нечего караулить последнего разряда – их бдительность сосредоточивается далеко от этих мест, направляясь к ближайшим окрестностям кладбищенской церкви, где действительно может найтись существенная нажива для мошенников, которые имеют иногда обыкновение сбивать и спиливать с монументов бронзовые кресты и доски – товар, принимаемый от них на фунты в иных железных и медно-котельных лавках.

В воздухе стояла одна из тех сыровато-теплых и совершенно черных ночей, которыми иногда отличается петербургский август, когда луна почти совсем не показывается на горизонте. Небо было заволочнуто сплошными облаками, и эти облака еще усиливали ту мгlistую темноту, которая разливалась над землею. Понемногу теплый дождик начинал накрапывать

медленными и редкими каплями. Все, по-видимому, благоприятствовало делу, задуманному Гречкой.

– Здесь... около этого места надо искать, – промолвил он, вылезая из канавы. – Тут вот, налево... девять шагов в эту сторону... Кажись, кругом точно те самые кресты видать... ну, так: вот этот высокенький – он, почитай, около самой могилы должен стоять, – шептал Гречка, стараясь острым и зорким взглядом различить замеченные ранее признаки местности, окружающей могилу Бероевой.

– Оно самое и есть, – подтвердил Фомушка, наткнувшись на предмет, служивший для них уже ближайшей приметой. Это была старая могила, на которой, вместо земляной насыпи, стоял, вместе с крестом, покрашенный когда-то желтой краской деревянный ящик аршина в два с половиной длины и в полтора шириною. Подобного рода убогие мавзолеи, должествующие, по-видимому, изображать собою высокие каменные гробницы с барельефами (кои суть принадлежность более богатых разрядов), встречаются довольно часто на петербургских кладбищах и особенно в последних разрядах Митрофаньевского. Время сбросило погнившие доски, служившие крышкой тому скромному мавзолею, на который наткнулся теперь Фомушка, так что он и в самом деле представлялся открытым ящиком в аршин глубины, что, между прочим, при давишем осмотре тоже не было упущено из виду обоими товарищами.

– Оно самое и есть! – повторил блаженный. – Теперича, значит, четыре шага влево и готово!

– Нашел!.. – откликнулся Гречка. – Вот она здесь!.. И хворостинка наша в головах не тронута... Пстой-ка, брат, приметинку пощупаю... Ну, так! – и приметинка вона мотается.

– Значит, верно! – заключил Фомушка. – Слава те, господи!

– Молчи, анафема! Ведь сказано: в эком деле не поминать его! – давнул его за руку суеверный Гречка. – Черти скорей лопатой круг около могилы: зачураться надо.

В шепоте, которым произносил он эти слова, было необыкновенно много той всепреклоняющей, повелительной энергии, которая вызывает безусловную покорность, и потому Фомушка, без рассуждений, тотчас же исполнил приказание Гречки.

– Чур меня!.. Чур меня! – шептал меж тем этот последний, оборачиваясь на все четыре стороны.

– Страшно, брат... – с легким содроганием сорвалось с языка Фомушки.

Тот покосился на него со злобою и только презрительно хикнул.

– Копай вот тут, рядом со мною!

Железные лопаты разом врезались в землю – и сырой глинистый ком глухо бухнулся и откатился в сторону.

При этом первом звуке Гречка невольно вздрогнул и еще усерднее приналег на лопату. Оба приятеля переживали не совсем обыкновенные мгновения. Суеверный, свинцово-давящий страх помимо их воли закрадывался в душу, в груди захватывало дух, и кровь напирала в височные жилы, а сердце то замирало, то вдруг начинало колотиться усиленными биениями. Осторожная, бесшумная работа шла среди глубокой тишины – ни слова не было уронено больше, только оба трудно и перерывчато дышали.

Вдруг вдалеке послышалось что-то неясное, как будто похожее на шаги человека.

Оба сильно вздрогнули, инстинктивно остановились и, напрягая ухо, пристально взглянули друг на друга.

Тишина. Где-то вдали цепная собака хрипит и заливается. Ветер на минуту слегка потянул по верхушкам кладбищенской рощи, обвеяв чем-то страшливым и холодненьким обоих гробокопателей. Прислушиваются – ничего не слышать; только редкие капли неровно перепадывают, шлепаясь на пыльные листья лопушника.

Снова стали копать, копать и слушать – чутко, напряженно, чтобы не проронить ни вблизи, ни вдали ни единого звука.

Ах, ты степь моя, степь моздокская, –

неожиданно послышалось позади их, словно бы из кладбищенской рощи.

– Обход!.. Хоронись живее! – чуть слышно вымолвил Гречка, перестав работать. – С лопатой хоронись!

– Да куда же?.. Наземь, что ли, ничком?

– За мною!.. да тише ты!.. Полежай в ящик, да ложись боком, чтобы обоим хватило...

И осторожно, без малейшего шума опустились они с лопатами и легли на дно соседнего деревянного намогиля.

Голос, тянувший «моздокскую степь», меж тем раздавался все ближе. Вот и шаги уже слышны – шаги смешанные, как будто два человека идут. Ближе и ближе – через минуту, гляди, поровняются с укрывшимися гробокопателями.

Вдруг, шагах в пяти от ящика, послышалось сдержанное рычание большого пса.

– Полкашка! – обозвал голос, напевавший песню.

Пес продолжал озабоченно рыскать меж могилами и глухо рычать.

– Чего брешешь, ну, чего брешешь-то?.. Эка, дурень-собака! Брешет себе зря. Совсем дурень... Ну, что ты там слышишь?.. Полкашка!..

– Нет, брат, ты его не обидь, – послышался в ответ другой голос, – он у нас справедливый пес. Это он верно хорька слышит – хорек тут завелся где-то: намедни-с у отца дьякона цыпленка утащил. Я третёва дни, как могилу копал, видел его, как он это по траве побег. А Полкашку не обидь: он свою правилу собачью знает – он, это верно.

– Может, мазурики где забрамшись?..

– Какие тут мазурики, чего им тут взять?

– Одначе ж пошарить бы.

– Пожалуй... для че не пошарить?

И могильщики, разойдясь один с другим, свернули с тропинки, побродили между крестами. Один даже мимо ящика прошел, мурлыча себе под нос все ту же песню.

– Ничего нету!.. Да и Полкаша побег себе! – крикнул издали другой, и через минуту оба удалились.

У Гречки отлегло от сердца: будь немножко почутче нюх у Полкашки да караульщики помышленнее и поретивее – и вся заветная мечта его развеялась бы дымом. Правда, он бы не дешево расстался с нею: он уже решил, что в случае накрытия – сразу бить насмерть обоих; но... как знать чужую неизвестную силу? Пожалуй, что и его бы скрутили, и тогда – прости-прощай навеки фармазонский рубль!

«Степь моздокская» меж тем совсем уже затерялась вдали за деревьями; но не прежде, как только вполне убедившись, что опасность миновала совершенно, решился Гречка выползти из намогиля.

Снова лопаты вонзились в землю – работа закипела теперь еще решительней, еще энергичнее прежнего, и вскоре железо ударило о крышку гроба, а минут через пять она вся обнажилась.

На гробокопателей при виде вырытого гроба повеяло легким холодком нервного трепета.

– Вскрой крышку-то, запусти маленько лопату под нее, – шепотом пролепетал блаженный.

Деревянные заклепки заскрипели под напором железа, и крышка соскочила.

Перед глазами Гречки и Фомушки вверх неподвижным лицом, обрамленная белым холщовым саваном, лежала мертвая женщина в арестантском капоте. У обоих крупными каплями проступил холодный пот на лбу.

– Где же деньги-то?.. Не слышать что-то. – чуть слышно бормотал Фомушка, шаря по трупу своей трепещущей рукою.

– Больно прыток, – с худо скрытою злостью прошипел Гречка, отстраняя прочь от тела руку блаженного, из боязни, чтобы тот первый не нашел как-нибудь заветного рубля, – больно прыток!.. Забыл, что дядя Жиган сказывал? Исперва надо надругательство над нею сотворить, а потом уже деньги-то сами объявятся.

– Ну, какого там еще надругательства? – шепотом огрызнулся Фомушка. – Дал ей тумака доброго – и вся недолга! Вот-те и надругательство будет.

– Приподыми-ка ее! – приказал Гречка тоном, не допуская прекословья.

Фомушка взял покойницу за плечи и, придерживая рукою, посадил в гробу. При этом движении руки ее тихо опустились на колени.

– Братец ты мой, – с некоторым ужасом изумился блаженный, – да она мягкая, не закоченевшая совсем!

– Толкуй, баба! Мерещится! – отозвался Гречка, хотя сам очень хорошо заметил то же.

В эту минуту невольный ужас мешался в нем с чувством, которое говорило: минута еще – и ты достиг, и ты счастливый человек! – и потому он силился подавить в себе этот суеверный страх, но нервы плохо покорялись усилиям воли и ходуном ходили, тряся его, как в лихорадке.

Наконец почувствовал он, что настала решительная, роковая минута. Глаза его налились кровью, грудь высоко и тяжело вздымалась, а лицо было бледно почти так же, как лицо покойницы. Закусив губу и задержав дыхание, он сквозь зубы тихо простонал блаженному: «Держи!» – и, сильно развернувшись, с ругательством наотмашь ударил ее в грудь ладонью. В эту минуту раздался короткий и слабый крик женщины.

Гробокопатели шарахнулись в сторону – и труп упал навзничь, но в ту же минуту, с усилием и очень слабым стоном, в гробу поднялась и села в прежнее положение живая женщина.

Фомушка с Гречкой, не слыша ног под собой от великого ужаса, инстинктивно упали на корячки и поползли, не смея обернуться на раскрытую могилу и не в силах будучи закричать, потому что от леденящего страха мгновенно потеряли голос, как теряется он иногда в тяжелом сонном кошмаре.

Проползя несколько сажений, Гречка поднялся на ноги, а вслед за ним стал и Фомушка: в эту минуту, после первого поражающего потрясения, у них едва-едва мелькнули слабые проблески сознания, и потому оба, под неодолимым обаянием дико-суеверного страха, без оглядки пустились бежать с кладбища. Инстинкт самосохранения и этот бледный луч сознания вели их к той же самой лазейке, с помощью которой удалось им, за час перед этим, пробраться сюда; и теперь, спотыкаясь о кресты и могилы и падая на каждом шагу, дотащились они кое-как до разобранной канавочной загородки и прытко пустились наперекоски, через огородные грядки к избе Устиньи Самсоновны.

LXXIV СПАСЕНА

– Надо, государи мои милостивые, исперва от духа уразуметь, – сидя за пряжей, наставительно калякала хлыстовка с двумя своими гостями – Ковровым и Каллашем, тогда как Бодлевский с Катцелем работали в подызбище, а эти – между делом – вышли наверх поглотать воздуха, не пропитанного лабораторными запахами. Устинья Самсоновна каждый раз норовила не упустить малейшего случая и повода потолковать о вере с кем-либо из этих гостей, в надежде, что авось кто-нибудь из них, убежденный ее речами, обратится в веру правую, за что она паки и паки сподобится благодати вышнего.

– Надо от духа поучаться и ходить по духу, и веровать токмо по духу: как тебя дух божий в откровении вразумит, так ты и ходи, так и верь, – говорила хлыстовка. – Вот, когда наша вера истинная стала шириться по земле, тогда на Москве сидел царь Алексей со своим антихристом Никоном, и повелел он христа нашего батюшку Ивана Тимофеича изымать с сорока учениками, для того, чтобы они веру правую не ширили. Пытали их много, а батюшке Иван Тимофеевичу дали столько батожья, сколько всем ученикам его вкупе, однако ж не выпытали от них, какая-такая наша вера есть. Исперва в Москве сам антихрист допросы чинил им, а потом сдали их, наших батюшек-страстотерпцев, на житный двор к гонителю египетскому, князю Одоевскому, и тот гонитель очинно ревнив был пытать Иван Тимофеевича: жег его малым огнем на железный прут повесимши, потом палил и на больших кострищах, и на лобном месте пытал, и затем уже роспали его на стене у Спасских ворот. В Москве-то бывали вы, государи мои? – спросила обоих Устинья Самсоновна.

– Случалось, – подтвердил ей Ковров.

– И Спасские ворота знаете?

– Как не знать!

– Ну так вот, как идти-то в Кремль, по левой стороне, где ныне часовня-то поставлена, тут его и распинали. Я к тому это и говорю, – продолжала хлыстовка, – что значит дух-то! Чего-чего ни перенесешь, коли дух божий крепок в тебе, потому и завет у нас такой: аще победити и спастися хочешь, имай, первее всего, дух божий и веру в духа.

– Ну, и что же с ним потом-то было? – спросил Каллаш.

– Ой, много с ним всякого было! – махнула хлыстовка. – Когда испустил-то он дух, то от стражи было ему с креста снятие, а в пятницу похоронили его на лобном месте, в могиле с каменными сводами, а с субботы на воскресенье он, наш батюшка, при свидетелях воскрес и явился ученикам своим в Похре. И тут снова был взят, и пытку чинили ему жестокую и вторительно роспали на тьем самом месте у Спасских ворот. И содрали с него кожу вживе, но едина от учениц его покрыла батюшка простынею белою и простыня та дала ему новую кожу. Поэтому мужики наши хлыстовские, в воспоминание его, и носят белые рубахи, а на раденьях «знамена» мы имеем – полотенца, али-бо платы такие полотняные. И потом снова воскрес наш батюшка и начал проповедывать, а учеников ему, с этого второго воскресения, прибавилось видимо-невидимо. И когда в третий раз изыскали и обрекли на мучения – в те поры царица брюхата была и родами мучилась: никак не могла разродиться. И было ей тут пророчество, что тогда только разродится она благополучно сыном царевичем Петром, когда ослобонят Ивана Тимофеевича. Тут его и слобонили, и стал он явно жить в Москве на покое, проповедуя веру правую тридцать лет; а дом, где жил, доселе цел и нерушен стоит и промеж божьих людей «Новым Юрусалимом» нарицается.

В эту минуту рассказ ее был прерван топотом неровных, торопливых шагов, который послышался на крылечке, словно бы туда прытко вбежали два человека. Раздался нетерпеливый, тревожный стук в наружную дверь.

Ковров и Каллаш в недоумении вскочили с места, причем первый опустил свою руку в карман, где у него имелся наготове маленький карманный револьвер, который он постоянно брал с собою, отправляясь в загородную лабораторию.

– Господи Иисусе!.. Кто там? – встала из-за пряхи хозяйка, встревоженная этим шумом в такую позднюю пору.

Старец Паисий взял свечу и пошел в сени.

– Кто там? – окликнул он.

– Мы... я... пустите, – отвечал перепутанный, задыхающийся голос Фомушки.

– Чего тебе?

– Христа ради, впустите скорее... Беда! – с отчаянием воскликнул он, стучась в дверь.

Старик отомкнул защелку – и в комнату влетели ошалелые гробокопатели. Лица их были в кровь исцарапаны, одежда перервана и перепачкана землей, а сами они до того дрожали и казались перепуганными, что Ковров с Каллашем поневоле отступили назад, изумленные этим неожиданным появлением.

Фомушка и Гречка, с трудом переводя дух, стояли посередине комнаты и все еще не могли прийти в себя.

– Ты как здесь? – подошел Каллаш к блаженному. – Что случилось? с кем ты? откуда?

– Ба... а... батюшка, страшно... – с усилием выговорил дрожащий Фомушка.

– Полиция здесь? Накрыли вас, или гнался за вами кто, что ли?

– По... покойник гнался... на кладбище... из гроба... – говорил блаженный, почти бессознательно давая свои ответы.

– Да они пьяны, – заметил Ковров, переухмыльнувшись с графом.

– Были бы пьяны – не были бы так перепуганы.

– А зачем носило вас на кладбище? – снова приступил последний к Фомушке.

– Фармазонские деньги... на ей защиты... могилу раскопали... – без смысла лепетал блаженный, страшно озираясь во все стороны.

– Могилу раскопали?.. – озабоченно сдвинув брови, повторил вслед за ним Каллаш. – Э-э!.. Шутки-то выходят плохие!..

– Послушай, – отозвал он в сторону Коврова, – этот дурак мелет чепуху какую-то, но очевидно одно: оба страшно перепуганы и один обмолвился, что могилу раскопали. Это-то и есть причина паники.

– Ну, так что ж? – спросил Ковров.

– Очень скверно. Разрытую могилу завтра же могут найти, – принялся Каллаш развивать свою мысль, – поднимется следствие, розыски, обыски, «как да что», а до хлыстовской избы полиции не трудно будет добраться: ведь по соседству стоит. Понимаешь?

Ковров кивнул головой и озабоченно закрутил свой великолепный ус.

– Вы разрывали могилу? Зачем? Для чего это? – наступили оба на Фомушку.

Гречка меж тем успел уже прийти в себя, а с возвратом полного сознания ему тотчас же явилась в голову суеверная мысль, что это, должно быть, вражья сила подшутила над ними, и потому, желая предупредить Фомушку, чтобы тот не давал ответа, он толкнул его в локоть. Но это движение не скрылось от Коврова.

– Эге, да это, кажись, мой старый знакомый!.. – протянул он, пристально вглядываясь в физиономию Гречки. – Помнится, будто встречал когда-то. Ты зачем толкнул его?

– Я?! Мерещится, что ли? – дерзко ответил Гречка. – Вольно ему сдуру молоть ерундищу!

– Где вы были? Отвечай мне! – начальнически и в упор приступил к нему Сергей Антонович.

– Да вам-то что, где бы мы ни были? Чего лезете?

В ответ на это последовал истинно-командирский удар по уху.

Гречка отшатнулся в сторону и упал на лавку, но в ту же минуту, поднявшись на ноги, хотел было броситься на Коврова, как вдруг, в ответ на это движение, увидел он ловко приставленный к своей груди револьвер.

Его попятило назад: он живо вспомнил былые времена и лихого капитана золотой роты.

Ковров меж тем не отставал от него со своим пистолетом.

– Отвечай, мерзавец, где вы были и что вы делали, или сейчас же, как собаку, положу на месте!

– Виноват, ваше... ваше сиятельство!.. Простите, Христа ради! – пробормотал оробелый Гречка, ибо вспомнил по старым опытам и слухам, что с этим барином вообще шутки плохие, особенно когда в переносицу зловеще смотрит пистолетное дуло.

– Я не спрашиваю, виноват ли ты, а мне нужно знать, где вы были и что делали – понимаешь? – с расстановками над каждым словом возразил Сергей Антонович, нещадно теребя его за ухо, словно мальчишку-школьника.

– Виноват, ваше сиятельство... на кладбище были, – пролепетал Гречка, окончательно потерявшись от столь неожиданного и столь бесцеремонного отношения к своей особе.

– Зачем вы были на кладбище? – настойчиво наступил на него Ковров.

– Фармазонских денег искали...

– Где вы их искали?

– На покойнице... на арестантке одной тут...

– И разрыли для этого могилу?

– Виноваты, ваше сиятельство...

– Ну, так пойдемте зарывать ее, – сказал Ковров тем спокойно-сознательным тоном, который не допускает возражений. Для подпольной компании было необходимо нужно, чтобы могила была зарыта, потому что иначе, и в самом деле, мог бы произойти весьма невыгодный оборот для их предприятия вследствие неперенных обысков полиции. Надо было немедленно же уничтожить все следы преступления двух гробокопателей.

– Ваше сиятельство... слобоните! Христа ради!.. Не можем вернуться на кладбище! – взмолился Фомушка. – Покойница ведь живая... стонала... сидела в гробу... сам видел своими глазами.

Это было еще одно новое открытие для Каллаша и Коврова; теперь, стало быть, необходимо нужно было пришибить насмерть либо спасти мнимую покойницу.

Ковров мигом накинул свой плед, захватил маленький потайной фонарик и вышел из горницы вместе с Фомушкой и Гречкой.

Он беспрекословно заставил их идти с помощью того же самого убедительного аргумента, который за минуту перед сим развязывал язык гробокопателей.

В глубокой тишине, не нарушаемой ни единым словом, осторожно пробрались они прежним путем на кладбище, и Гречка, весь дрожа от волнения и страха, снова нашел, в темноте, разрытую могилу.

Однако странно: гроб раскрыт, но никого в нем нет – один только саван лежит, брошенный в двух шагах от крышки.

Ковров еще круче закусил свой ус и озабоченно сдвинул брови. Что тут делать теперь? Ясно, что мнимоумершая выползла из гроба, но где искать ее по кладбищу, в какую сторону направиться? Да и когда тут искать, если каждая минута дорога, если для собственной безопасности нужно было как можно скорее уничтожить все признаки раскопанной могилы. Поиски, во всяком случае, отняли бы время. Из двух зол надо выбирать меньшее, а если мнимоумершую найдут завтра где-нибудь на кладбище живую или мертвою, это все-таки менее опасно, чем разрытая могила: там еще вопрос темный, там еще могут быть какие-нибудь сомнения, недоразумения, а здесь – эта разрытая могила, и в ней – свидетель преступления.

Ковров прислушался, пригляделся в темноту – напрасно: не различишь никакого признака, да и не слышать ни шороха, ни стона, – мешкать было нечего.

– Бери, ребята, крышку – и снова на гроб ее, – шепотом распорядился он, не выпуская из руки револьвера, который держал все время наготове, так что те поневоле повиновались.

– Готово, ваше сиятельство.

– Теперь закапывай гроб хорошенько! Где лопаты у вас?

– А тутотки бросили вот...

– Ну, бери дружнее! Да живо у меня, мерзавцы!

– Ой, страшно, ваше сиятельство... руки словно в лихорадке... приняться страшно...

– Закапывай!

И, без дальних разговоров, он весьма убедительно приставил дуло ко лбу Фомушки.

Такой решительный маневр, в особенности после стольких потрясающих ощущений, которые немного обессилили в обоих гробокопателях твердость и способность самостоятельно действовать своей силой и соображать своим рассудком – такой маневр, говорим мы, произвел свое решительное действие: они опустили накрытый гроб в могилу и проворно стали закапывать.

– Вали землю живее! Живее, каналы! – энергическим шепотом поощрял Сергей Антонович. – За работу по пятирублевке получите.

И минут в пять могила быстро была засыпана в присутствии Коврова, лично наблюдавшего за работой.

Они уже возвращались прежним путем, вдоль канавки, как вдруг, шагах в пяти, послышался слабый, болезненный стон.

Фомушка с Гречкой так и обмерли в ужасе.

– Дальше ни с места! – громко приказал им Ковров и осторожно выполз из канавы, по тому направлению, откуда послышался стон. Действительно, пройдя пять-шесть шагов, он наткнулся на что-то живое. Это была женщина, почти в беспамятстве, и по ее полулежачему положению можно было предположить, что она перед тем ползла по земле.

Ковров на мгновение отодвинул щиток потайного фонарика, и первое, что бросилось ему в глаза – это арестантский капот. Лица он не успел разглядеть, потому что оставить свет еще на несколько секунд было бы не совсем безопасно. Что ж теперь делать с нею? Пришибить? – Поздно: могила уже зарыта. Оставить на кладбище? – Нельзя: этот арестантский капот мешаает. Он, при следствии, пожалуй, все дело выдаст и, быть может, поведет к черт знает какой кутерьме! Что же делать, однако, с этой женщиной? Время не терпит: надо самим как можно скорее уходить с кладбища. Остается одно только средство: была не была – взять ее с собою! Если она за ночь умрет – можно будет снять с нее этот предательский капот, переодеть в другую одежду и тайно вывезти да бросить за чертой города, в стане, на каком-нибудь пустыре, а если поправится, если выздоровеет, то – сама арестантка, стало быть, не выдаст никого и ничего, а будет рада, что из гроба вынули да от тюрьмы спасли.

Ковров торопливо спустился в канавку и приказал Фомушке с Гречкой идти за собою. Он постлал по земле свой плед, завернул с головой найденную женщину и велел им нести.

Те дрожали, как осиновые листья, и не решались взяться за страшную для них ношу.

– Трусы! – презрительно отнесся к ним Сергей Антонович: – Не видите разве, это живая женщина? Ее в обмороке схоронили! Ты носи лопаты и фонарь, – приказал он Фомушке, – и ступай вперед, а ты бери ее за ноги!

И, вместе с этим, осторожно поднял за плечи завернутую женщину, и вдвоем понесли ее с кладбища, к подзаборкой лазейке. Хотя обоих гробокопателей все еще мучило чувство суеверного страха, однако, видя такое хладнокровие и энергию со стороны Коврова, они приободрились несколько, предполагая, что, верно, и в самом деле это живая женщина, потому, нечистая сила с мертвечиной не так бы проявили себя.

Все благополучно возвратились в избу Устиньи Самсоновны.

Ковров приказал внести в горницу найденную женщину, а сам, не теряя минуты, прямо спустился в подъизбище и позвал Катцеля.

Доктор развернул плед, наклонился, чтобы рассмотреть ее лицо, – и вдруг быстро отшатнулся в сторону, очевидно, под влиянием какого-то невольно поразившего его чувства.

– Боже мой!.. Да это она!.. – прошептал он в смущении.

– Кто она?

– Она... Бероева...

– Бероева?! – изумленно повторили Ковров и Каллаш, в свою очередь нагибаясь к ее лицу, чтобы удостовериться, точно ли это правда.

Для Сергея Антоновича не осталось более сомнения в этом: он еще прежде знал Бероеву, она как-то необыкновенно нравилась ему, как красивая женщина, – а он боготворил красивых женщин. Он знал и ее, и ее мужа, встречавшись с ними у Шиншеева, и, вдобавок, ему очень хорошо была известна настоящая история ее с Шадурским и судьба, постигшая эту женщину, и теперь, заглянув в это истомленное страданием лицо, окончательно удостоверился, что перед ним действительно лежит Бероева.

– Ее надо спасти, непременно спасти! Слышите, Катцель, не-пре-мен-но! – с одушевлением и решительно проговорил он.

– Но куда же мы с нею денемся? – возразил Бодлевский.

– Оставим здесь.

– Здесь... Она нам будет мешать, она может выдать нас.

Ковров оглядел его с нескрываемым презрением и тихо, отчетливо промолвил ему:

– Не выдайте вы нас, любезный друг! А она – женщина, обязанная нам спасением жизни, арестантка, приговоренная в Сибирь, – она нас не выдаст, лишь бы вы не проболтались в нежную минуту вашей княгине Шадурской.

Бодлевский вспыхнул от негодования, однако молчал и ушел в подъизбище, не принимая более никакого участия в происходящем.

Бероева лежала на лавке, по-прежнему закутанная в плед Коврова.

– Эх, брат, как же ты так плошаешь! – с укором заметил он Катцелю и обратился к хлыстовке:

– Матушка Устинья! В бога ты веруешь?

– Штой-то, мой батюшка, еще не верить-то! – Верую! – Хрестьяне ведь!..

– Ой ли?.. Ну, коли «хрестьяне», так и поступай же по-христиански! Постель-то у тебя мягкая?

– Мягкая, батюшка, пуховичок ништо, хороший.

– Пуховичок хороший, а больного человека на голой лавке допускаешь лежать! Эх ты, «верую»! Уступи, что ли, Христа ради, постель свою.

– Бери, мой батюшка, бери, Христос с тобой! Я рада: «Болящего, сказано, посети».

– То-то же! Так вот и походи за нею, пока выздоровеет.

Ослабевшую Бероеву перенесли в другую горенку на постель Устиньи Самсоновны. Старуха раздела и укутала ее в теплое одеяло.

Ковров меж тем озабоченно ходил по смежной горнице.

– Ее третьего дня на Конную вывозили – я случайно прочел в «Полицейских», – шепотом заметил граф Каллаш.

– Да? – отозвался доктор. – О, теперь я понимаю: это была летаргия от нервного потрясения. Субъект для меня весьма интересный – поштудирую, – заключил он, потирая от удовольствия руки.

– Мерзавцы... негодяи... барчонок... – шептал меж тем про себя Сергей Антонович, хмуро сжимая брови от какой-то неприятной мысли, и вдруг круто подошел к Катцелю.

– Слушай, – начал он ему совершенно серьезно и строго. – Эта женщина всеми своими несчастьями главнейшим образом обязана тебе. Ты ее убил, ты же и воскресишь ее. Ступай к ней!

Но Катцель и без того уже засуетился над изысканием первых пособий: приказал Устине нагреть самовар, спустился в подызбище и вытащил оттуда баночку спирту да бутылку лафиту.

– Ну, а вам, ребята, спасибо за то, что вырыли! – неожиданно обратился Ковров к Фомушке и Гречке, которые почтительно стояли у дверей. Бывший капитан золотой роты нагнал-таки на них порядочного страха.

– Вот вам обещанная водка! – продолжал он, кидая им два империяла. – А теперь скажите-ка мне, каких это фармазонских денег искали вы?

– Неразменного рубля, ваше сиятельство, – поведал Фомушка-блаженный.

– Дурни! – покачав головою, улыбнулся Сергей Антонович. – Тебе бы, собачий сын, о разменных рублях следовало думать, а ты черт знает о какой чепухе!

– Грешен человек, ваше сиятельство, и плоть моя немощная, – с покаянным сокрушением вздохнул блаженный.

– А ты, кажись, будешь человек годящий, – обратился Ковров к Фомкину товарищу. – Хочешь на меня работать? В накладе не останешься, лучше всяких фармазонских денег будет. Согласен, что ли?

– Рады стараться, ваше сиятельство! – охотно согласился Гречка, который, впрочем, в глубине души своей подумал:

«А все же, черт возьми, надо раздобыться фармазонским рублишкой».

В душе его смутно и больно щемило от неудачи.

– Ну, теперича с глаз долой! Ступайте дрыхнуть себе, – отпустил обоих Сергей Антонович, и осторожно, на цыпочках, отправился в комнату, где лежала Бероева.

– В искусство ваше я верю, – шепотом обратился он к Катцелю, горячо сжимая его руку, – и... если вы – человек, умоляю вас, спасите ее: у нее дети ведь!.. А нас она, поверьте, не выдаст. За это уж я берусь.

Доктор улыбнулся, кивнул головой и, ответно пожав руку Коврова, опять наклонился над больною, принявшись за свои скудные наличные средства помощи: для него она, больше чем прежде, представляла теперь любопытный в научном отношении субъект, и поэтому он с великой охотой готов был упорно истощать над нею все усилия и все свое искусство.

– Ну, что? – опять войдя через час времени, спросил его Сергей Антонович.

Доктор Катцель самодовольно вытянулся и, вскинув на него торжествующий взгляд, промолвил тихо и внятно:

– Спасена!

ЧАСТЬ ПЯТАЯ ГОЛОДНЫЕ И ХОЛОДНЫЕ

I ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРИХИНА

– Благослови, господи, на новую жизнь да на добрую дорогу! – перекрестилась Маша Поветина, выходя под вечер, с узелком в руках, за ворота богатого дома, где оставляла столько любви, воспоминаний и столько тяжелого разочарования – после того, как была брошена молодым Шадурским (читатель знает уже, что это совпало со временем маскарадного приключения его с Бероевой), и после продажи с молотка ее мебели и всего имущества.

Ванька-извозчик шажком довел скудные Машины вещи до Сухарного моста, где ее бывшая горничная Дуня поутру сговорила ей место за четыре рубля в месяц «с горячим от хозяев» и теперь провожала Машу на это место, чтобы окончательно там устроить ее.

Новая жизнь открылась перед Машей, и эту новую жизнь предстояло ей начать в семье особого свойства, цвета и запаха.

Эта петербургско-немецкая семья составляет совершенно особый, замкнутый в самом себе и настолько своеобразный элемент, что о нем стоит немножко побеседовать.

Карл Иванович Шиммельпфениг был санкт-петербургский немец. Его достопочтенный покойный папенька, Иван Карлович Шиммельпфениг, был немцем лифляндским из города Риги и добродетельно содержал аптеку. Когда возлюбленный сын его Карл получил диплом, удостоверявший всех и каждого, что он добропорядочно окончил курс учения, при поведении отлично-благонравном, папенька его, Иван Карлович Шиммельпфениг, написал в Петербург умиленное письмо к старому своему товарищу, действительному статскому советнику Адаму Адамовичу Хундскейзеру, прося пристроить к местечку своего сына, который и был отправлен в Петербург при этом самом письме. Адам Адамович Хундскейзер с радостью определил под свое ведомство юного Карла, и юный Карл сразу же понял, что он крепок и силен высоким покровительством Адама Адамовича, и немедленно поспешил составить себе кодекс необходимых житейских правил, чтобы следовать им неизменно до конца своей жизни. Юный Карл сказал себе: «Умеренность и аккуратность суть первые добродетели, и если к ним присоединить еще строгую исполнительность, то это будут три грации древних». Сказав себе такой «максим», он сделался умерен, аккуратен и пунктуально исполнителен до тошноты, до омерзительности, и тем самым обрел фортуна своей жизни, ибо неизменно пользовался покровительством и высоким мнением о себе своих немцев-начальников.

Впрочем, покровительством Адама Адамыча Хундскейзера он пользовался отчасти и по иной посторонней причине. Хотя Негг Хундскейзер был женат и имел семейство, – как подobaет всякому чиновнику-немцу, в качестве насадителя немецкого элемента на русской земле, – однако это не мешало ему иметь на стороне некоторую слабость. Адам Адамыч был немножко эпикуреец. Эта слабость достаточно уже устарела для Адама Адамыча, ибо известно, что чем старше становится эпикуреец-смертный, тем более начинает он питать алчность к юности, к молодой свежанине. Но Адам Адамыч был немец, и потому содержать одновременно две слабости казалось ему превышающим его экономию. Поэтому надлежало, как ни на есть, разделяться со старой слабостью. Думал-думал Адам Адамыч, как бы все это устроить ему – и ничего лучше не придумал, как выдать эту слабость замуж. За кого ее выдать? Естественно, за человека, который, происходя из немецкой же расы, был бы по службе благоугоден ему, как немец и как отлично исполнительный чиновник. Женитьбу на своей слабости Адам Адамыч Хунд-

скейзер считал для подобного немецкого смертного в некотором роде наградою – наградою не в счет крестов, чинов, денег и всяческих отличий, ибо этой наградой тем паче приобреталось его высокое покровительство. Для этой цели он избрал сына своего старого товарища – и, таким образом, в один прекрасный вечер имел случай от души поздравить юного Шиммельпфенига со вступлением в законный брак со своей слабостью, на которую, между прочим, в глубине своего сердца питал надежды такого рода, что она, при случае, не откажется продолжать с ним прежние отношения и по выходе замуж, ради больших удобств своего супруга и своих собственных, при дальнейшей супружеской жизни. Таким образом, слабость переменяла свое прежнее звание на имя титулярной советницы Луизы Андреевны Шиммельпфениг и, по видимому, была совершенно довольна и счастлива, равно как и юный Карл тоже был доволен и счастлив, ибо понимал, что вступление в супружество со слабостью его превосходительства, патрона и благодетеля доставляет ему новую силу и крепость.

Нужды нет, что Луиза была старше его тринадцатью годами – он все-таки был доволен и счастлив, и с первых шагов своих на супружеском поприще попал под башмак этой немецки-прелестной особы.

Пока немецки-прелестная особа была еще «в поре» – превосходительный ловелас и покровитель оказывал ей время от времени знаки своего сердечного благоволения – в силу старой привычки. Для его экономии это не составляло теперь расчета, ибо за благосклонность госпожи Шиммельпфениг он платил благосклонностью же господину Шиммельпфенигу, и супруги не оставались в накладе, так как благосклонность Адама Адамовича Хундскейзера выражалась в прибавках жалованья, в экстренных выдачах, в наградах, в повышении чинами, в орденке и, наконец, в личном дружелюбном расположении самого патрона и покровителя.

Карл Иванович Шиммельпфениг шел в гору, ибо его, что называется, тянул за волосы, всеми легкими и нелегкими, все тот же неизменный патрон и покровитель. Но нельзя сказать, чтобы Адам Адамович Хундскейзер поступал таким образом исключительно ради отношений своих к супруге своего подчиненного, – нет, Адам Адамович кроме этого был добрый немецкий патриот и потому тянул в гору Карла Ивановича по высшему принципу, как немец немца – из чувства нравственного родства и национальности.

В маленьких чинах Карл Иванович был довольно скромно относительно своих русских антипатий; но с постепенным повышением в оных, он постепенно высказывался, – так что, достигнув до статского советника, почти уже не скрывает своего презрения, а когда достигнет до действительного статского, то тогда, можно надеяться, совсем уже проявит всю глубину его.

Кто-то заметил ему однажды, что как же, мол, это – и презираете, и служите в одно и то же время? Это, мол, маленькая несообразность выходит. Карл Иванович смерил дерзновенного своим пятиклассным, статско-советничьим глазом, и, вероятно, чувствуя, что чин «действительного» весьма уже недалек от него, с великим достоинством отчетливо возразил:

– Я служу не отечеству, но моему императору! Я люблю русское правительство; но я презираю русскую свинью.

Вообще названия варваров, вандалов и скифов суть обыкновенные клички, которыми удостоивает нас, грешных, Карл Иванович в своем интимном немецком обществе; но, как высшая степень в порядке этих кличек, у него является энергическое выражение «русская свинья», коим он остается бесприммерно доволен.

– Наша служба – это есть наша высшая миссия, – заметил он тому же дерзновенному, который осмелился выразить мысль о несообразности презрения и службы, – мы, немцы, мы желаем приобщить вашу Россию к циклу цивилизованных государств Европы. Это – наша миссия!

Так понимает Карл Иванович задачу своего служебного поприща.

И Карл Иванович отменно хорошо умел чувствовать это: он знал, куда идет; он ведал, что дойти до цели можно ему только этим путем; он понимал, что в путешествии по русской

иерархической лестнице младший немецкий человек должен крепко, и всеми зависящими средствами, держаться за виц-мундирные фалды старшего немецкого человека, дабы и за его собственные фалды могли потом держаться другие младшие немецкие люди, когда он, Карл Иванович, в свою очередь, сам сделается большим немецким человеком. Карл Иванович, как доброкачественный подчиненный, радушно и разумно снисходил к отношениям патрона и своей Луизы Андреевны, ибо знал, что все это он сам наворачивает, что впоследствии он сам будет находиться в точно таких же отношениях к какой-нибудь Минне Федоровне или Маргарите Францевне и тянуть за волосы в гору ее супруга. Такова сила вещей, и, стало быть, уразумев ее однажды, ему не о чем уже было печалиться. Карлы Ивановичи вообще тем и счастливы в жизни, что у них крепкие, выносливые лбы и затылки, хотя эта крепость отнюдь не препятствует развитию задорно-щепетильного самообожательного немецкого гонора и кичливости в отношении русского человека.

Карл Иванович Шиммельпфениг – санкт-петербургско-русский чиновник и немецкий патриот, в самом кристальном значении этого слова. Он, так сказать, один из пионеров германской народности в России. Посмотрите вы на него в разных фазах общественной деятельности: на службе, в клубе, в семействе, в домашнем обиходе – везде и во всем он прежде всего истинный немец – и в больших вещах и в самых последних мелочах он все тот же, неизменно верный самому себе Карл Иванович.

Не будем говорить о великом; возьмем одни мелочи, ибо из мелочей слагается обыденная жизнь человеческая и по преимуществу жизнь Карлов Ивановичей.

Карл Иванович непременно член клуба; но какого клуба? – санкт-петербургского национального собрания, именуемого по-русски шустерклубом. И ни в каком ином клубе он не захотел бы быть членом. Тут у него издавна уже существуют свои интимные нравственные связи и симпатии. Карл Иванович, несмотря на все блага земные, изливаемые на него щедрой рукой фортуны, очень аккуратен и расчетлив. Это качество не покидает его нигде, ибо оно присуще ему по натуре. Карл Иванович соображает, что ему нужно, например, белье, сапоги, платье и тому подобное. Как поступает в этом случае Карл Иванович? – Он знает, что в числе его клубных сочленов, с коими он садится по вечерам за преферанс, находятся: немецкий сапожный мастер Негг Мюллер, немецкий портной Негг Иогансон, немецкий магазинщик белья Гроссман, – и Карл Иванович в отношении этих господ пользуется своими интимными связями и симпатиями, зная, что тут он приобретает все необходимое, что называется, и дешево, и ссудито, а в то же время поддержка своей национальности является. Поэтому платье он заказывает не иначе как немцу-портному, сапоги – немцу-сапожнику, белье – немецкому магазину, в полном убеждении, что способствует развитию национальной немецкой промышленности. Он даже – мелочь из мелочей – стричься и бриться ходит не иначе как к «немецкому парикмахеру» на Большой Мещанской.

Нельзя сказать, чтобы Карл Иванович был чужд эстетических наслаждений: изредка он посещает немецкий театр (но только немецкий) и объясняет супруге своей достоинства некоторых актеров и пьес, из которых особенно нравятся ему те, которые хоть немножко, хоть самую чуточку проявляют в себе немецки-патриотическую закваску. Но если что сделалось в последнее время предметом живейшей ненависти Карла Ивановича, то это русская журналистика, с тех пор, как она стала заниматься ост-зейским «вопросом». Имени Каткова он равнодушно слышать не может, – зато боготворит императорско-российского надворного советника и германского пионера г-на фон Мейера, будучи всегда усердным читателем его академически-российских немецких «Санкт-Петербургских Ведомостей».

– Что они пишут! Боже мой, что пишут эти вандалы! – восклицает он, диспутируя по поводу нападок русской журналистики. – Немцы!.. А что они будут делать без немцев? Кто дал России просвещение, администрацию и цивилизацию? Кто взял преимущество интеллигенции в высшем ученом собрании русском? – Немецкие ученые мужи! Кто в России лучший чинов-

ник? – Немец! Кто лучший командир? – Тот же немец! Кто педагог? – Опять-таки немец! Кто капиталист, банкир, негодянт, агроном, и врач, и механик? – Немец! Кто, наконец, лучший, честный ремесленник, сапожник, булочник? – Немец! Все немец, немец и немец! Все – мы! – заключает он с гордым достоинством и, вслед затем, не без горечи присовокупляет: – А они кричат! они, они-то кричат еще! Какая неблагодарная нация!

Но не одну только службою ограничивается цикл цивилизаторской миссии Карла Ивановича – нет! Он во все отрасли жизни своей бросает семена этой миссии. Известно, что соберутся два или три немца, там тотчас же создается у них Bund и Verein³⁷⁴ – непременно Verein, без Verein'a тут никак не обойдется; только этот Verein, при всей своей торжественности, бывает у них всегда безобиднейшего, буколического свойства, и чем невиннее, тем торжественнее. По свойству и качеству этих ферейнов, все немцы подразделяются на немцев поющих, немцев танцующих, немцев гимнастирующих и немцев стреляющих, или, лучше сказать, воинствующих. Поэтому, уже само собой разумеется, что и петербургский немец никак не мог обойтись без ферейна: «Немец бо есть, и ничто же немецкое не чуждо ему». В Петербурге прежде всего образовался ферейн из немцев танцующих, затем уже пошли немцы поющие, которые образовали новый ферейн, известный под именем Парголовского Liedertafel³⁷⁵. Впрочем, между этими двумя категориями нет ни малейшего антагонизма: те же самые немцы, которые поют, те же и танцуют, и наоборот. Воинствующий немец в Петербурге недавно еще начал вырабатываться; но по тем задаткам, которые он предъявляет в последнем отношении, можно предсказать, что это будет наиприятнейший немец. Дабы изобразить сии задатки, необходимо наперед изобразить, как он селится на лето по невским болотам, что называется «на даче». Хотя у него и не сформулирован собственно дачный ферейн, тем не менее он чувствует, он сам собою рождается, будучи присущ петербургско-немецкой натуре; одним словом, не существуя *de jure*³⁷⁶, он существует *de facto*³⁷⁷. Немец занятой, немец деловой выезжает на дачу по преимуществу в Новую и Старую Деревни, кои давно уже приняли характер чисто немецкой колонии; немец же сибаритствующий, почивший на буколических лаврах своего благосостояния, перебирается не иначе, как в Парголово. Первое Парголово – это в некотором роде немецкое Эльдorado, земля обетованная, и тут-то – боже мой! – что за раздолье для буколических наклонностей, что за благодатная почва для поющих и пляшущих ферейнов! Тут-то вот и проявляется в великолепном зародыше будущий фрукт воинствующего ферейна. Представьте себе немецких людей, светлооких юношей, солидных мужей и даже седовласых старцев, которые под вечер, часов около шести, собираются все вкупе на какой-нибудь близлежащий луг, строятся во фронт по ранжиру и, справа по отделениям, начинают маршировать самым усердным, добросовестным и серьезнейшим образом, до того серьезным, как может быть серьезен только немец. И сколько тут почтенных отцов семейства, сколько солиднейших надворных и коллежских советников! Один отец семейства прицепляет на палку фуляровый носовой платок и гордо марширует впереди – это знаменосец. Два титулярных советника, один коллежский асессор, три булочника и два провизора идут впереди знаменщика и, приставив кулаки к губам, стараются подражать звукам валторны и тромбона, а с ними человек восемь делают преуморительные эволюции руками перед своим животом и трещат языком своим: «бром! бром! тррр-бром!» Эти играют роль барабанщиков. И вот таким образом происходит немецкий парад, после которого парголовские воины церемониальным маршем расходятся в недра семейств своих, и все при этом необыкновенно серьезны, довольны и счастливы.

³⁷⁴ Союз и общество (нем.).

³⁷⁵ Певческое общество (нем.).

³⁷⁶ По закону (лат.).

³⁷⁷ Фактически (лат.).

Обращаюсь преимущественно к тебе, мой иногородний читатель; мне так и кажется, что, прочтя это место, ты недоверчиво улыбаешься и произносишь: «Эка сочиняет!» Ей-богу, нет! Клянусь тебе, не сочиняю, клянусь тебе – правда, воочию виденная мною при посторонних свидетелях!

Карл Иванович Шиммельпфениг, – как вообще всякий петербургский немец его категории, – когда находился в меньших чинах и принужден был ежедневно пребывать в месте служения своего, то жил летом в Новой Деревне; когда же ранги его возвысились, а служебный пост дозволил сибаритствовать, он стал нанимать дачу в Парголово. Карл Иванович – необходимый член Парголовского лидертафеля, хотя голос его, в сущности, напоминает только овечьё блеянье; Карл Иванович точно так же, невзирая на свой ранг, постоянно принимает участие и в буколическо-спартанском игрище, где обыкновенно марширует – палка на плечо – в качестве офицера. Вы думаете Карл Иванович играет в солдаты просто потому, что поиграть ему хочется? Нет, ошибаетесь! Карл Иванович слишком торжественно и серьезно относится к делу вечерних парголовских парадов: он презирует в них высший принцип; сколь ни кажется это наивно и даже невероятно для такого серьезного, практического по службе человека, он способствует в этих парадах великой идее немецко-национального единства. Карлы Ивановичи спроста не поступают. Он во имя этой идеи и поет, и пляшет, и марширует, купно с немецкими собратьями в Парголово летом обитает. Таким образом, относительно буколики и всяческих ферейнов, петербургского немца вообще можно определить так: петербургский немец есть немец дачно-поюще-вопиюще-танцующе-воинствующий. И это определение будет вполне верное, с коим согласится всякий, хоть немножко знающий петербургского немца.

Карл Иванович необыкновенно любит буколику и торжественную представительность; в весьма недавнее время, ради этой торжественной представительности, он даже нарочно брал отпуск и ездил в Германию, дабы принять личное участие в каком-то празднестве гимнастов или певцов, причем, своей особой изображал представителя нашей *deutsche Russland*³⁷⁸, и даже в торжественной процессии этого празднества перед ним, в числе представителей прочих национальностей, несли знамя, на коем большими буквами была изображена та же самая *Russland*. Карл Иванович при этом случае с огромным патриотическим пафосом красноречиво ораторствовал высокопочтенному собранию о великом значении российско-пионерской миссии русских немцев относительно великой идеи общегерманского единства, что и возбудило величайший восторг высокопочтенного собрания: в честь его было выпито 1874 кружки баварского пива, двадцать восемь раз кричали ему «виват» и даже торжественно пропечатали в газетах.

С этого благодатного и великого дня Карл Иванович вполне уже чувствует себя героем.

Но это только одна сторона его характера, которая, касаясь сфер общественных или умозрительных, рисует в Карле Ивановиче, так сказать, человека публичного. Есть у Карла Ивановича и другая сторона, которая прячется от посторонних взоров, которая доступна только самому Карлу Ивановичу, его супруге и его кухарке – это сторона халатная, домашняя, семейная, и с этой-то последней стороны характер Карла Ивановича проявляет весьма скаредные свойства, так что определить, в домашнем отношении, можно так: Карл Иванович есть немец халатно-сентиментально-пиволюбующе-скаредный.

Непрестанно памятуя, что умеренность и аккуратность суть две первые добродетели немца-бюрократа (он не любил называть себя «чиновником», а всегда говорил: «мы, бюрократия»), Карл Иванович и в домашний свой обиход вносит те же самые две добродетели. Каждая домашняя надобность, каждая физическая потребность была у него строго расчислена и строго разграничена, для каждой определялся особый бюджет, свыше которого не могла быть передержана ни единая копейка. Все было под счетом, всему велся особенный реестр, ежемесячно поверяемый; и в этом отношении Карл Иванович Шиммельпфениг нашел себе рев-

³⁷⁸ Немцкой России (нем.).

ностно-усердную и верную помощницу в супруге своей Луизе Андреевне, которая аккуратной скаредностью далеко превосходила Карла Ивановича. В этом отношении Луиза Андреевна была истая немка. Будь на ее месте француженка, в то время, когда Луиза Андреевна была еще молода и состояла под непосредственным покровительством «штатского генерала» Хундскейзера, – француженка с прожорливою жадностью глотала бы деньги, тряпки, яства и пития, обирала бы трех-четырех Хундскейзеров разом и, не задумываясь над будущим, сорила бы своим легко приобретаемым благосостоянием на все четыре стороны, пока суровая старость, вместе с суровой бедностью, не подстерегли бы ее из-за угла. Луиза же Андреевна, как истая немка, была во время оно воздушно-задумчиво-сентиментальна и обирала одного толы о Хундскейзера – настолько, насколько вообще возможно обирать расчетливого немца, но и то обирала она его с чувством, с толком, с расстановкой – понемножку да исподволь, откладывая и прикапливая для будущего, что называется, на черный денек. И драгоценные качества ее молодости не покидают Луизу Андреевну и на склоне дней ее: как тогда, так и теперь Луиза Андреевна очень сентиментальна и очень скаредна.

Нельзя сказать, чтобы в обоих супругах не было склонности к житейскому комфорту; но эти склонности они более чем строго соразмеряют со служебным положением Карла Ивановича. Когда Карл Иванович был еще в небольших чинах – супруги довольствовались тремя комнатами, двумя немецки-вкусными блюдами за обедом и одною немецкою прислугою, в образе кухарки; они довольствовались этим, умеряя свои желания; зато, пользуясь покровительством Негг Хундскейзера, непрестанно откладывали излишек достатков своих на будущее время. Когда Карл Иванович получил более самостоятельное и выгодное место да чин статского советника, он переселился к Сухарному мосту (где квартиры дешевле), нанял пять комнат, за столом ест уже четыре блюда и восчувствовал надобность в двух служанках: в кухарке и горничной. Когда же Карл Иванович получит еще более выгодное место, купно с чином действительного статского (а он его получит неизбежно!), то будет жить в семи комнатах, есть пять блюд, и кроме двух служанок, держать еще немца-лакея. Таким образом, можно сказать, что с возвышением на бюрократическом поприще служебной карьеры возвышается и жизненный комфорт Карла Ивановича.

Но для кого же копит Карл Иванович и его супруга? Детей им бог не уделил, значит, некому оставить по непосредственно-преемственному наследству. Родственников близких, которых бы они сердечно любили, у них тоже нет. Стало быть, для кого и для чего же они откладывают? – Для того, что уж у них натура такая, для того, что это сидит во плоти, в крови и в костях обоих супругов. Иного ответа нет, да, очевидно, и быть не может.

Хотя Карлу Ивановичу и его супруге предназначено сыграть слишком кратковременную и ничтожную роль в настоящем повествовании, тем не менее автор никак не мог удержаться, чтобы не побеседовать с читателем о Карле Ивановиче, в этом кратком и беглом очерке. Ибо, говоря о Петербурге, нельзя не сказать и о местной трихине, творящей вечное, непрерывное нашествие на наши веси и дебри из своей специальной Trichinenland³⁷⁹, ибо наша Санкт-Петербургская трихина не такого рода мелкое явление, которое можно бы было пройти без внимания.

Этими-то причинами автор и намерен извинить перед читателем отступление от прямого рассказа.

³⁷⁹ Страны трихин (нем.).

II В ЧУЖИХ ЛЮДЯХ

Маша, вместе с Дуней, явилась к Карлу Ивановичу Шimmelъфенигу. Прежде чем соблаговолить лично объясниться с нанимаемой девушкой, почтенные господа Шimmelъфениги заставили ждать ее на кухне с добрых полчаса: Карл Иванович вообще необыкновенно любил заставлять кого бы то ни было (исключая друзей и начальников) дожидать себя, – ибо Карл Иванович, по примеру своих же начальников, убежден, что подобное ожидание придает ему в посторонних глазах много весу и значения. Когда ему докладывали, что такой-то или такая-то явилась с просьбой по делу, он даже с большим самодовольствием отчетливо и громко произносил: «Пусть обождет» – хотя бы сам в это самое время просто-напросто считал воробьев на соседней крыше. И, как педантически-строгий формалист, Карл Иванович, соображаясь с рангом и положением просителя, градирует свои фразы насчет ожидания, в следующем порядке: а) проси обождать, в) может обождать, с) пусть обождет и наконец d) просто-напросто употреблял в неопределенном виде повелительно «ждать!» С этим последним отнесся он и к своей немке-кухарке, когда та заявила ему о прибытии Маши Поветиной.

– Ждать! – воскликнул Карл Иванович из-за широкого листа Санкт-Петербургских академических немецких ведомостей – и только через полчаса соблаговолил призвать к себе Машу.

– Ты русская? – был первый вопрос, обращенный обоими супругами к нанимаемой девушке.

– Русская.

– А ты не лентяйка?

– Кажется, нет.

– То-то, «кажется»! Надо тебе знать, что мы лености вашей не терпим, и за каждый час, употребленный на леность, я строго буду взыскивать: вычитать из жалованья.

– То есть, как это за леность? – застенчиво спросила Маша, не поняв, что именно следует разуметь под часами, употребленными на леность.

– Это значит, – пояснил господин Шimmelъфениг, – что если тебе дадут какую-нибудь работу, или пошлют куда-нибудь и при этом скажут, что ты обязана исполнить к такому-то сроку, а ты не исполнишь, проспичь, позабудешь – за все это вычет.

– Но, позвольте... – попыталась Маша перебить его.

– Вычет... За все вычет! – не слушая возражения, продолжал Карл Иванович. – Потому что я тебя нанимаю служить мне, и притом требую, чтобы мне аккуратно служили – потому, за все то время, которое против нашего желания или позволения ты самовольно употребишь на праздность, я буду вычитать.

– Но ведь мне надобно же и отдохнуть когда-нибудь, – возразила девушка.

– Для отдыха мы тебе дадим весьма достаточно времени, но вычитать я буду за нерадивость и неаккуратность. Например: тебя отпустят со двора на два часа, ты пробудешь три, – за час я сделаю вычет. Не вычистишь ты мне к утру платье и сапоги, не подметешь и не уберешь аккуратно все комнаты – опять-таки сделаю вычет. Понимаешь?

– Понимаю вполне.

– Ну, теперь насчет обязанностей, – продолжал пунктуальный Карл Иванович. – Штопать, чинить, иногда сшить что-нибудь для барыни, иногда выстирать, выгладить ей воротнички или мне манишки или что-нибудь такое, платье чистить, барыню одевать, голову чесать ей; ну, затем полы подметать, а иногда, по очереди с кухаркой, и вымыть их, ну... и прочее. Одним словом – понимаешь ты – вся домашняя работа. Кроме того – у нас бывают порядочные люди, поэтому я требую, чтобы ты была всегда опрятно и прилично одета. Вот мои условия. Согласна ты? – спросил наконец господин Шimmelъфениг.

Маше, конечно, больше ничего и не оставалось, как только согласиться на все условия господ Шиммельпфенигов.

– Лизхен, – обратился Карл Иванович к своей супруге, – сдай ей счетом, по записке, все вещи, которые должны находиться у нее на руках, да прибавь, что за каждую утраченную, разбитую или испорченную вещь мы вычитать будем из ее жалованья.

Но Лизхен прибавила бы это сама по себе, без напоминаний своего супруга. Она сдала своей вновь определившейся горничной ваксу, сапожные щетки и метелку – для «барина», сдала блюдечки, чашки, стаканы и чайные полотенца, сдала свои юбки, манишки и платья, указала ключи от шкафов, где вся эта рухлядь хранилась, и Маша собственноручно должна была отметить в реестре – в каком количестве и какие именно вещи приняты ею.

– Ну, уж скареды иродские, прости, господи! – говорила Маше ее бывшая горничная Дуня, когда та вышла проводить ее в сени. – Знала бы – ни за что не посоветовала бы вам идти к ним.

– Да что ж, они по-своему правы: каждому свое добро дорого, – возразила Маша.

– Эх, да уж больно по-жидовски как-то выходит у них все это! – презрительно скривила Дуня свои губы и прибавила в виде утешенья: – Уж вы, Марья Петровна, поживите у них, голу-бушка, так только, самую малость, пока что... А я вам, авось, другое место добуду!.. Постараюсь!

– Нет, Дуня, спасибо. К чему другое? – отклонила Маша от ее предложения. – Все равно, где ни служить. Я ведь не боюсь работы – сама же захотела ее, ну, и буду работать. Честно буду работать, так и здесь будет сносно... Проживу как-нибудь – бог не оставит! Прощай, Дуня!

И две девушки тепло простились между собою братским поцелуем и горячей слезкой, в которой у каждой из них, быть может, скрывалась своя доля подавляемой горечи и боли душевной. Что-то это за новая жизнь? Как-то все это будет, да чем-то все это кончится?..

* * *

Маша хотела работы – она ретиво принялась за нее, не смущаясь многими трудностями непривычного для нее дела, и однако все-таки дико и странно как-то показалось ей это новое положение в чужом доме, с чужими людьми, где все, положительно все было ей чужое, и это чужое с полным правом распоряжалось, по своему произволу, ее временем, ее волей, ее работой. Она должна была беспрекословно подчиняться любой прихоти и каждому капризу этих чужих, совсем посторонних ей людей, которые, так или иначе, но часто на ней самой изливали свое неудовольствие, и эти изъятия надо было принимать молча, сносить терпеливо, потому что от каприза этих людей, более или менее, зависело самое существование молодой девушки: откажи они ей сегодня от места – она сегодня же не будет знать, куда ей деться, как быть, где приютиться, что начать делать? Потому что она не знала той жизни и не приобрела еще того опыта, которым научают долгая нужда да горе с голодом и холодом. То есть, пожалуй, она и знала, что есть на свете жизнь вроде той, которую она, не ведая еще, что творит, вела одно время с молодым Шадурским, но... там у нее была любовь, для которой она все забывала, все прощала и все переносила безропотно, а для новой, подобной жизни у нее нет, да и не могло уже быть любви – натура Маши была слишком чиста и непорочна еще, и потому эта жизнь, полная горького разгула и в то же время горькой беспомощности, также пугала ее своим ужасом и развратом: пока еще она чувствовала к ней только одно отвращение и презрение.

«Нет!.. Лучше я не знаю что, лучше камни ворочать, лучше в каторгу идти, только не это!.. Только не это!» – с ужасом повторяла она самой себе, закрыв глаза рукою, словно бы защищалась от тех ужасов, какие рисовали в ее воображении смутные признаки этой безнадежной жизни.

Прежняя любовь – прежнее чувство было еще не изжито: оно, непрошенное и незванное, то и дело врвалось порою в душу девушки, отравляя все существо ее горечью самых светлых воспоминаний и тяжестью темного разочарования. Маша не могла еще совладать сама с собою, она еще не в состоянии была преодолеть в себе остатки своего чувства к молодому князю, хотя и старалась всеми силами достичь этого: она думала переделать себя, хотела заставить себя разлюбить и позабыть его – и не могла заставить.

«Пустое! Все это дурь во мне бродит, все это блажь одна, блажь и только! – твердила она себе порою. – Я должна бросить все это! Буду работать – как можно больше и усерднее работать, чтобы некогда было даже думать о прошлом, работать целые дни так, чтобы к ночи до того устать, измориться, чтобы только спать и спать. – А там – опять за работу, и опять измориться: усталость отобьет охоту думать, работа, как ни хитри, а возьмет свое!»

И Маша работала – работала так, что даже господа Шиммельпфениги не могли сказать дурного слова.

Чем больше, порою, подступала ей к сердцу горечь неугомонных воспоминаний и оскорбленной любви, тем пуще принималась она за работу. Она работала упорно, сосредоточенно, даже с каким-то тайным суровым озлоблением, и в эти минуты нарочно сама выбирала какое-нибудь дело потяжелее. Не в очередь мыла полы, чему немка-кухарка была необыкновенно рада, штопала чулки господина Шиммельпфенига, чинила юбки и воротнички госпожи Шиммельпфениг до того, что на всех пальцах заусеницы накалывала себе иголкой, печи топила, бегала по двадцати раз в день в мелочную лавку, в булочную, в колбасную, в пивную, и когда несмотря на все это у нее в течение дня оставалось еще довольно свободного времени, Маша выискивала себе новую работу.

– Сударыня, у вас нынче три сорочки и пять юбок грязных лежат – позвольте, я их выстираю, – говорила она иногда в этих случаях госпоже Шиммельпфениг, и Луиза Андреевна немедленно соглашалась, даже была рада этому из экономических видов: по крайней мере, домашними средствами обойдется дело – прачке платить не надо – Маша даром выстирает, накрахмалит и выгладит. И вскоре таковой образ действия со стороны Маши дошел до того, что госпожа Шиммельпфениг совсем почти перестала пользоваться вольнонаемной прачкой и, как бы чувствуя за собой полное и законное право, свалила почти всю стирку на одни Машины руки.

И молодая девушка исполняла все это беспрекословно, как будто оно и в самом деле должно быть так, а не иначе. Она спускалась в подвал, в темную, холодную прачечную, разводила с помощью дворников большой огонь, кипятила воду в чугунке, и в быстро нагретой, сырой, прелой атмосфере, в которой густой пар ходил клубами и туманом, принималась над большим деревянным чаном за тяжелую стирку хозяйского белья. В оконные щели холод идет, дверь кто-нибудь входя или уходя растворит, и в низкосводный, закопченный подвал так и пахнет со двора пронизающим ветром, так и обдает им все тело – что за нужда! Приналяжет Маша на свою работу, и опять станет жарко. Две-три прачки стирают тут же. Обычно желтые, заморенные лица их раскраснелись от упорной работы, растрепанные волосы выбиваются из-под головного платка и космами липнут к мокрому лбу, на котором крупными каплями уже четвертый пот проступает. У одной из них тут же грудной ребенок в платяной корзинке пищит; мать поставила его неподалеку от печи, чтобы потеплее было, потому дома у нее в квартире холод: сама на работе, стало быть, и печка понапрасну не топлена. Слышит мать жалобный, голодный писк своего ребенка и, вся мокрая, усталая, разбитая бежит от дымящегося чана к платяной корзинке и, склонившись над нею на колени, наскоро кормят грудью младенца. Другая, молоденькая, быстроглазая, в это же самое время, визгливым тоненьким голосом песню поет – поет и стирает, а досужий дворник, который только что притащил сюда и с громом свалил у печи новую вязанку обледенелых поленьев, облапливает ее сзади всю пятернею и балагурно заигрывает. Быстроглазая прачка лукаво ухмыляется – и вдруг ему прямо в рожу

летит целая пригорсть мыльной воды и обдаёт всего брызгами. Дворник ругательски ругается, быстроглазая звонко хохочет, ребенок пищит и плачет, а Маша все стирает да моет, словно бы не видит и не слышит ничего – упорно, сосредоточенно склонилась в три погибели над своим чаном, мускулы рук ее то и дело напрягаются. И движутся эти руки непрерывно, словно два поршня или рычага в паровой машине; всю спину и поясницу ей уже давным-давно разломило; ладони и пальцы разбухли до опухоли от движения в горячей воде – к завтрашнему утру они потрескаются на морозе, как пойдет она полоскать белье на реку, к завтрашнему утру на них волдыри накипят и мозоли позаскорузнут – нужды нет! Маша стирает себе, не обращая ни на что внимания, потому ведь по своей, по вольной охоте взялась она за эту работу – никто ее, кроме собственного сердца, не нудил на эту каторгу. Пойдет она завтра на плот полоскать в холодной воде свою стирку, простоит на резком ветру часа два, простоит под дождем или снегом; потом возьмет все эти обледенелые рубахи, юбки да кофты и на чердаке развесит их сушиться на протянутых веревках. К этой всей работе Маша еще с детства пригляделась, как жила в Колтовской, у своих стариков: у них тогда во дворе, в маленьком флигелечке, тоже прачка одна квартирушку снимала и все этак-то стирала да мыла. В те поры Маша иногда, от нечего делать, приглядывалась к ее работе, а теперь нежданно-негаданно пришлось ей и к делу применить свою приглядку. Сноровки только большой у нее не было – занятие не совсем привычное – зато ретивости много.

Работает так-то Маша и думает в этом суровом труде утолить свое неутомное сердце, позабыть свою кручину. А сердце меж тем неустанно работает над этой самой кручиной и тихо щемит, занывает оно, и в угрюмо сдвинутых бровях молодой девушки сказывается печать далеко невеселой мысли.

В чужих людях, на месте, где она теперь жила, ей все казалось противным, сухим, на всем у этих людей лежал оттенок какого-то черствого бессердечия. Маша, более чем когда-либо, чувствовала себя одинокою – совсем, бесконечно, безгранично одинокою: ни вблизи, ни вдали не было у нее человека, которому бы можно было раскрыть свою душу, слово перемолвить, ласковым взглядом перекинуться, и она как-то вся ушла в себя, как улитка в свою раковину, герметически закупорилась и преобразилась в какую-то рабочую машину, тем упорнее принимаясь за свой труд, чем больше начинало подступать к ее сердцу ее молодое горе.

Это была непосредственная, совсем простая, неизломанная натура. Полюбила она Шадурского безотчетно: сама не зная и не понимая, как и за что, а просто потому, что полюбилось. Поэтому-то ее чувство было в высшей степени искренно и глубоко. Она сама даже и не подозревала всей глубины его. Это было светлое, беззаботное, беззаветное и свежее чувство девочки. Последний удар самого тяжкого разочарования сделал из девочки женщину. И это была женщина любящая и оскорбленная. Тот же самый удар, который произвел в ней этот переворот, осмыслил и ее характер: он придал ему именно ту замкнутую внутри себя сосредоточенность, которая отличала Машу среди ее новой жизни у господ Шиммельпфенигов.

Эта чета и жизнь в их доме были ей положительно противны. Луиза Андреевна уже несколько лет назад утратила последние поблеклые цветы своей третьей молодости и привлекательности. Для супруга, который был на тринадцать лет юнее своей драгоценной половины, тоже уже наступил период почтенной зрелости, о чем свидетельствовали и самый чин его, и известная крупность занимаемого им места. Карл Иванович начинал уже делаться большим немецким человеком. В лице и во всей фигуре его, по этому случаю, необходимо появилась приятная округлость, и экспрессия этого лица постоянно носила характер гордого и блаженного самодовольства. Карл Иванович вступал в тот возраст, когда, по неизбежному почти закону, он должен был, в ущерб законной супруге, восчувствовать беззаконную слабость к какой-нибудь Минне Францевне и, по примеру своего патрона Хундскейзера, тянуть в гору ее немецкого супруга. Луиза Андреевна очень хорошо понимала и чувствовала неизбежность такого пассажа со стороны своего благоверного. Но – увы! – в настоящей Луизе Андреевне не

осталось и тени от прежней, которая была когда-то слабостью штатского генерала Хундскейзера. Насколько округлялся супруг ее, настолько же сама она худела и дурнела. Луиза Андреевна чувствовала, что фонды ее давным-давно уже упали, а между тем желание быть молодой осталось, и – странное дело! – на склоне дней своих она страстно, ревниво, ожесточенно привязалась к своему супругу – грех, в оные годы с ней не случавшийся. И эта страстная привязанность служила источником множества неприятностей, отравлявших мирный покой их супружеской жизни.

Зачастую, когда супруг находился на службе или вообще вне дома, Луизу Андреевну начинали мучить разные подозрения; она была вне себя: то принималась сентиментально вздыхать и плакать; воображая в себе покинутую жертву и мученицу, то вдруг ни с того ни с сего придерется к прислуге и давай на ней всю свою желчь вымещать. Пилит-пилит, бывало, по целым часам из-за каких-нибудь грошовых расчетов, хотя бы из-за того, что говядина на четверть копейки вздорожала, или что воротничок ее шемизетки дурно выглажен, или пыль в одном уголке зала нехорошо подметена, или просто, наконец, так себе, безо всякой достаточной причины и очевидного повода. Но чем более подходило время к обеденному часу, тем сильнее становилась ажитация отставной Лурлеи. С нервическим подергиванием губ, беспрестанно взглядывала она на стенные часы, тревожно шмыгала по всем комнатам, подлетала ко всем окнам – не видать ли возвращающегося Карла Ивановича? И если свыше обычно-обеденного срока проходило как-нибудь десять-пятнадцать минут, а в прихожей не раздавался мужнин звонок, – Луиза Андреевна начинала неистовствовать, потрошить свои тощие косицы, порыжевшие и вылезшие от времени, и вскоре дело доходило до полного истерического припадка. Лурлея желала быть молодой и экономною: она ревниво мучилась от воображаемых измен Карла Ивановича и мучительно злилась при мысли, что эти измены, быть может, сопряжены даже с трагю денег – потому что ведь тратился же и на нее самое когда-то штатский генерал Хундскейзер. Но как ослепляла ее ревность! Как ошибалась на этот последний счет она в своем расчетливом и экономном супруге! Карл Иванович действительно начинал подумывать о заведении слабости, но рассчитывал, как бы получше основать эту слабость на строго-экономическом принципе. И вот среди подобных-то беснований появлялся супруг, а с его появлением возрождалась буря. Луиза Андреевна укоряла его в неверности, в черной неблагодарности к ней – к ней, которая составила все счастье и значение его жизни, которая отдает ему все свое сердце, которая, наконец, так экономна, что до последней тряпки заботится о его благосостоянии, а он, как какой-нибудь шпицбубе, бесчестно тратит трудовые деньги на какую-нибудь подлую тварь. Супруг хмурился и молчал, молчал и слушал: его отчасти лимфатическая, благоразумная *kaltblutigkeit*³⁸⁰ не изменяла ему ни в каких пассажах его жизни, исключая случаев национально-немецкого негодования по поводу *Katkoff und alle diese russische Schweine*³⁸¹. Вслед за этой бурей следовала перемена декорации: супруга сентиментально бросалась к нему с объятиями, просила прощения у своего *purliches Puppe*³⁸², объявляла, что она сама все прощает ему и забывает, с тем только, чтобы он забыл свою незаконную слабость, не тратил на нее денег и аккуратно являлся бы к обеду; заставляла его клясться в вечной любви и верности, сентиментально и со слезами рисовала картину того буколического счастья, если бы он вечно оставался в ее хозяйственных объятиях, в лоне своего дома, и в заключение принималась лобзать его отвратительно-страстными поцелуями, сама повторяла клятвы вечной *Himmels Liebe*³⁸³, и наконец увлекала за стол, на котором давным-давно уже был поданный кухаркою *Milchsuppe*³⁸⁴

³⁸⁰ Хладнокровие (нем.).

³⁸¹ Каткова и всех этих русских свиной (нем.).

³⁸² У своей дорогой куколки (нем.).

³⁸³ Небесной любви (нем.).

³⁸⁴ Молочный суп (нем.).

или габерсуп³⁸⁵ mit репа. Старая красавица сумасшествовала: она страстно любила и страстно скаредничала. Но зато сколь вкусен казался ей после таковой бури этот немецкий габерсуп с репой! Бури отнюдь не препятствовали ее доброму аппетиту, если даже не поощряли его еще более.

Однако с некоторого времени стала замечать Луиза Андреевна, что ее благоверный как будто поглядывает на Машу масляно-сладкими взорами. Карл Иванович действительно начал поглядывать на нее этим самым образом, и таковое обстоятельство немедленно же послужило обильным источником новых бурь и огорчений. Чуть, бывало, выйдет тот за чем-нибудь на кухню – глядь, супруга уж тут как тут, и стоит в дверях, и сверкает на обоих своим кошачьим взглядом.

– Was wollen sie hier, Karl Iwanitz?³⁸⁶ – раздраженно-резкой и подозрительной нотой раздается ее ревнивый голос.

Карл Иванович конфузится и не знает, что ему ответить на столь неожиданный вопрос, при столь неожиданном появлении.

Супруга повелительно увлекает его в комнаты, и начинается трагедия.

Почти с первого же появления Маши в этом милом семействе Луиза Андреевна стала уже косо и подозрительно посматривать на нее: она предчувствовала масляно-сладкие взоры своего супруга, и когда ее предчувствия стали оправдываться, то вся эта старческая злость и ревность окапошилась на голову Маши вместе с Карлом Ивановичем. Старая немка выискивала всевозможные предлоги, чтобы только придаться к Маше и излить свое негодование. Ревность нашептывала ей, что надо бы вымести вон из дому этот опасный соблазн, надо бы поскорее отказать Маше от места, прогнать ее со скандалом, а экономическая скаредность в то же самое время громко предъявляла свои особые расчеты и резоны: Маша такая хорошая горничная, такая усердная работница. Маша, наконец, добровольно и безвозмездно взяла на себя почти всю домашнюю стирку, поэтому прачке платить не надо – одна статья необходимого расхода уничтожается, пять-шесть лишних рублей ежемесячно в кармане остаются. Как тут прогнать такую благодать? И Луиза Андреевна мучилась, терзаемая ревностью и скаредностью, из которых одна не могла пересилить другую.

Маша очень хорошо все это видела и понимала, так что, всмотревшись да вдумавшись во все это, жить у господ Шиммельпфенигов стало уж вконец ей отвратительно; но... она никого и ничего почти не знала в этом городе, не знала почти той мутной жизни, которая кипит в этом лабиринте, но, и не зная, меж тем пугалась ее призрака: она боялась темного, неопределенного существования. Отойти, оставить это место – хорошо. Но потом-то что же станешь делать? Куда пойдешь, к кому обратишься? чем существовать-то будешь? Тут, у этих Шиммельпфенигов, как ни гнусно, как ни противно, да все же есть хоть какое-нибудь определенное положение, есть обеспеченный угол и кусок хлеба, заработанный хоть тяжелым да честным трудом, а там-то что ждет тебя? – «Нет, уж лучше терпеть да жить как ни на есть, пока терпится, да пока счастливый случай не пошлет какого-нибудь исхода!» – решила с собою молодая девушка и безропотно покорилась своей незавидной доле.

³⁸⁵ Овсяный суп (нем.).

³⁸⁶ Что вам здесь нужно, Карл Иванович? (нем.)

III

МАЛЕНЬКОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ИМЕВШЕЕ БОЛЬШИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Прошло около месяца с тех пор, как Маша определилась на место, и в это время случилось одно, вовсе ничтожное само по себе обстоятельство, которое, однако ж, подобно многим ничтожным обстоятельствам, имело свои большие последствия.

Госпоже Шиммельпфениг вздумалось однажды отправить Машу к своей портнихе с каким-то шелковым платьем, подлежащим различным переделкам.

Отправилась Маша. А накануне перед этим она долго полоскала белье на плоту, и проделало ее порядком, так что с вечера еще она почувствовала легкий озноб, и было ей все время не по себе как-то. Путь предстоял немалый – к Симеоновскому мосту. Надо было, между прочим, идти несколько времени и по Невскому, и по Караванной, где жила Маша в счастливые дни своей любви к Шадурскому. Ей в первый раз еще после житья на месте приходилось теперь побывать на Невском. Людная улица навела ее на многие воспоминания, которые усилились еще тем, что на самом почти повороте на Караванную она столкнулась с белогубым юношей-офицериком, который в качестве приятеля Шадурского часто бывал у нее во время оно и даже сильно ухаживал за нею. Белогубый офицерик изумленно приостановился на минутку и тотчас же прошел мимо. Очевидно, он узнал Машу, но как же ему признаться в этом теперь, когда он встречает ее в убогом бурнусишке, с белым узлом в голых руках? Маша сильно смущалась при этой встрече и быстро пошагала далее; однако была рада, что все это прошло таким образом. Но встреча с белогубым и потом путешествие мимо подъезда и ворот того самого дома, где она жила, вдруг навели на нее столько щемящих воспоминаний, пахнули на сердце таким горьким чувством, и затем мгновенное воспоминание о Колтовской да о своих стариках опять встало перед ней таким колючим и тяжелым упреком, что на глаза бедняги проступали на морозе самые жгучие слезы. Она шла и плакала, а самое нервная лихорадка трясла. И встречные люди с удивлением оглядывались, что, вот-де, идет хорошенькая девушка в каком-то жалком костюмишке, а слезы по щекам так и катятся, а она меж тем идет себе и не думает вытирать свои глаза, и словно бы этих слез своих совсем даже не чувствует.

Пришла Маша к портнихе с заплаканными, но, впрочем, уже сухими глазами. На лестнице оправилась и вытерла свои слезы. Толкует она портнихе, что госпожа Шиммельпфениг прислала ее с работой, рассказывает, как и что нужно переделать в принесенном платье, а в это самое время выходит из-за драпри гостья, которая сидела у портнихи в смежной комнате, и с изумленным недоумением уставилась глазами на Машу.

Эта последняя мельком взглянула на вошедшую и прямо, глаз в глаз, поймала ее удивленный взгляд. Она сразу узнала в ней одну из мастериц того магазина, где во время оно шила себе наряды, и вспомнила, что эта самая мастерица даже к ней на квартиру не однажды приходила примерять ей платья. Узнавши ее, Маша на минуту снова смутилась и вспыхнула.

«Экая я глупая! – внутренно упрекнула она себя в тот же самый миг. – Чего же я краснею? Или мне стыдно своего положения? Какой вздор!» – И она смело взглянула опять в глаза вошедшей женщине.

Та нерешительно улыбнулась и еще нерешительнее поклонилась ей. Маша ответила открытой, приветливой улыбкой и отдала поклон уже без малейшей застенчивости.

– А вы узнали меня? – совершенно просто и прямо спросила она.

– Д... да... узнала... – немножко смущенно заикнулась мастерица, – только... вы... такая перемена...

– Что делать! В жизни всякое бывает, – усмехнулась Маша.

– Н-да... – продолжала в том же роде старая знакомка. – Я вот с месяц назад была как-то у мадам Арман – помните, она тоже одно время шила на вас?..

– Как же, помню. И вот именно с месяц назад я даже работы у нее просила.

– Да, она мне передавала это.

– А передавала каким наглым образом она отказала мне в этой работе и как издевалась в глаза над переменою моего положения, – с горечью возразила Маша.

– Бог с ней! – вздохнула модистка. – Мадам Арман не совсем-то хорошая женщина.

– Впрочем, я и без ее помощи нашла себе работу: я нынче в горничных живу, – сообщила Маша со свойственной ей простотою.

Модистка опять вскинула на нее изумленные взоры.

– Вас это удивляет? – снисходительно улыбнулась молодая девушка.

– Очень... тем более, что князь Шадурский... Как же это он так допустил!.. Это ведь уж бессовестно!

Во время их разговора хозяйку вызвали зачем-то в мастерскую. Маша осталась с глазу на глаз с мастерицей.

– Бог с ним, он нехорошо поступил со мной, – махнула она рукой.

– А я слышала, что его приятели вас обвиняют.

– Меня?! – изумилась Маша. – Меня?! Да за что же?

– Конечно, не всякому слуху верь, говорит пословица, и мало ли что люди болтают, – продолжала мастерица, которую так и тянуло за язычок сообщить при сем удобном случае, что именно болтают, а в то же время, по доброте сердечной, хотелось и несколько полегче отнестись к своему сообщению. – Говорят, будто тут причиную один молодой человек, чиновник, что-ли, какой-то.

– Какой чиновник?

– Не знаю... болтают ведь они только и больше ничего... будто князь узнал, что вы обманывали его...

Маша в негодовании только плечами передернула.

– Какая низость!.. Какие мерзавцы! – с презрением прошептала она через минуту.

– Но все же князь, хоть бы из самолюбия, не должен был поступить с вами таким образом, – заметила мастерица. – Что бы ему стоило хоть как-нибудь обеспечить вас!

– Обеспечить?! Да разве я-то взяла бы от него какое-нибудь обеспечение, после того, как он меня бросил?

– А вы слышали, какая с ним история случилась?

– Когда?

– Да тоже вот с месяц тому назад.

– Ничего не слыхала.

– Как же!.. Помилуйте! Многие говорят про это... Я тоже слышала – у мадам Арман, баронесса Дункельт рассказывала. Ужас, какая история!

Маше больно было слышать дурное слово про того, кого она так много любила; ей бы не хотелось ровно ничего слышать про него – ни дурного, ни хорошего; она старалась уверять себя, что он не существует для нее, что он навсегда выброшен из ее сердца, а между тем это сердце дрожало теперь при одном звуке заветного имени, и несмотря на кажущееся нехотение слушать про него что-либо, она не могла преодолеть в себе другого, тайного и более искреннего желания: ее невольно так и подмывало узнать еще одну новую весть, услышать хоть что-нибудь про любимого человека – только пусть бы это «что-нибудь» было хорошее и благородное!

Маша молчала и выжидательно смотрела на собеседницу: она не решалась спросить ее, в чем заключается эта история, потому что старалась обмануть даже самое себя, боясь себе же признаться в затаенном и настоящем своем желании.

– Как же, как же! Ужас, какая страшная история! – продолжала словоохотливая мастерица. – Представьте себе, ведь его, говорят, чуть было не зарезали!

– Как?! – с испуганным стоном, невольно вырвалось из груди Маши.

– Да, говорят. Вот баронесса Дункельт говорила, а мне сама мадам Арман рассказывала. Говорят таким образом, будто у него были длинные амуры с одной барыней... Замужняя дама, рассказывают. Это-то он, мой голубчик, значит, в то самое время, как с вами жил, и с этой, с замужнею, тоже интригу вел. Связь у них, говорят, была. Обманывал, стало быть, двух разом: и вас, и ее. Ну, да, впрочем, они ведь и все такие, эти господа мужчинки!

При этих словах Маша бледнее полотна побледнела: обманывал... он все время обманывал... он не любил ее. – Вся кровь как будто застыла в ней. Она до сих пор думала, что он только разлюбил ее, но обманывать... обманывать с самого начала, имея другую любовницу... Стало быть, он только пошутил себе с нею, стало быть, он никогда и не любил ее... он только бездушно шутил и бездушно обманывал, притворялся, что любит... Это было сверх ожиданий Маши, этого она не могла ни допустить в нем, ни даже представить себе. Разлюбить он мог – что ж делать: любви насильно не удержишь, коли она прошла! Но с самого начала притворяться и вести обман – это уже подло. Последние остатки прежнего кумира в сердце Маши с этой минуты были уже в прах разбиты. И эта неожиданная мысль так ее поразила, что она, не давая себе отчета, не взвешивая рассудком сообщения своей собеседнице, чутким сердцем почувствовала только весь страшный смысл и уничтожающий холод слов ее.

– Представьте себе, – продолжала меж тем модистка, – встретился он с нею в маскараде и поехали вместе ужинать в ресторан, в отдельную комнату, а там она его очень опасно ранила. Говорят, будто из ревности – почему знать, может быть, даже к вам приревновала.

Мастерица передавала Маше один из многочисленных вариантов происшествия с Бероевой, которые в разноречивых слухах ходили тогда по городу.

– Но он-то, он-то хорош гусь, нечего сказать! – попыталась было она прогуляться насчет Шадурского, как вдруг Маша остановила ее решительным движением руки.

– Довольно... не говорите мне больше о нем... – через силу промолвила она надрывающимся голосом: видно было, что рыдания начинают душить ее, и быстрыми шагами она тотчас же удалилась из магазина.

«Обманывал... он только обманывал меня», – смутно мелькало облачко какого-то сознания в голове Маши, а меж тем, сама она шла, почти безотчетно, по направлению к набережной Невы, туда, где красовался аристократический дом князей Шадурских.

И вот она уже у самого дома, она заносит ногу на гранитную ступеньку бокового подъезда, который вел в отдельную квартиру молодого князя, она с решительным трепетом, с боязнью ожидания берет за ручку звонка. «Он ранен, – проходит в голове Маши другое смутное облачко, навеянное голосом все еще неостывшей живучей любви к разбитому кумиру, – опасно ранен... быть может, умрет, и не увидишь его больше. Я пойду к нему... я вижу его... в последний раз хоть взгляну на него»!

Но рука бедняги бессильно и тихо опускается от ручки дверного звонка:

«Нет, зачем же!.. Не надо... не надо... ведь он не любил, никогда не любил меня, ведь он только обманывал...».

И Маша идет далее.

Идет она далее, вдоль гранитной набережной белой застывшей Невы, идет без цели, без мысли, сама не ведая куда, не ведая зачем и почему, идет потому, что нельзя не идти, потому что ноги несут ее, все дальше и дальше. Лицо ее пылает – ей жарко, ей душно; у нее горло судорожно сжимается внутри от рыданий, которые не могут вырваться наружу и разрешиться спасительными слезами. Ветер со всех сторон поддувает ее плохой бурнусишко – пусть его дует! пусть охлаждает это пылающее лицо, эту горячую голову, ведь ей, бедняге, так жарко, так душно, так тесно среди этого простора широкой ледяной равнины, которая открывается

справа, среди этого морозного дня и холодного северного ветра... А что-то теперь госпожа Шиммельфениг подельывает?

IV ПЕРВОЕ НАЧАЛО БОЛЬШИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Госпожа Шиммельпфениг негодовала. Она отправила в должность своего Карла Ивановича в двенадцатом часу; она отправила Машу к модистке в первом; теперь уже половина пятого – ровно полчаса прошло сверх обычно обеденного срока, – и нет ни того, ни другой. Что это значит? Почему их нет? Уж не встретились ли они вместе где-нибудь? Уж не заранее ли это условлено между ними? Тем более, что нынче Карл Иванович должен получить месячное жалование.

Госпожа Шиммельпфениг бегала по комнатам, вздыхала и плакала, плакала и грызла носовой платок; но, вдруг опомнившись, что последнее вовсе не экономно, принялась потрошить свои косицы. Время уходит. Кухарка ропщет и жалуется, что картофельный суп совсем уже перекипел и переварился. Луиза Андреевна негодует, что приходится, в ожидании мужа, лишние дрова палить, и уже рассчитывает, сколько нужно будет вычесть из жалованья Маши за просроченное время и, по этому случаю злобственно радуется, что хоть чем-нибудь отомстит ей за свои подозрения, как вдруг раздается звонок, и появляется Карл Иванович и от Карла Ивановича – о, ужас! – отдает винным букетом шампанского. Луиза Андреевна с визгом падает в обморок; Карл Иванович бросается помогать ей, он в отчаянии, но сентиментальный обморок проходит очень скоро, и начинается трагедия. Карл Иванович не смущается ею. Он выдержал первый шквал с обычным равнодушием, вынул из кармана полновесную пачку ассигнаций – жалование было в наличности сполна, и это обстоятельство несколько утешило сердечную бурю Луизы Андреевны. Но букет? Отчего от Карла Ивановича непозволительно отдает букетом шампанского? Отчего он сам в несколько ненормальном состоянии? Положим, хотя это и прилично-ненормальное состояние, как подобает его солидным летам и солидному рангу, но все оно ненормальное! Карл Иванович трогательно объясняет, что сегодня он был неожиданно приглашен на завтрак к своему старому сотоварищу, человеку равного с ним чина и положения в обществе, и влюбленная Луиза Андреевна успокаивается, кидаясь к нему с объятиями, с мольбами о прощении, с заботами о том, не нужно ли ему гофманских или мятных капель. Но Карл Иванович на сей раз солгал перед своей супругой. Он действительно был на завтраке, только не у товарища равного с ним ранга и положения, а у одного из своих подчиненных, у Негг фон Биттервассера, обладателя очень хорошенькой и очень пухленькой Минны Францевны, который, прозрев тайные чувства начальника к своей законной половине, сам позаботился, в виду будущих благополучия, о счастливом их соединении и поэтому пригласил патрона на завтрак. Счастливое соединение сердец Карла Ивановича с Минной Францевной покамест предстояло еще в будущем, и – увы! – влюбленная Луиза Андреевна на сей раз была жестоко обманута, поверив словам вероломного супруга! Тем не менее, она поверила, она с большим аппетитом кушала Kartoffel-Suppe и Rippenspeer mit Rosinen und Mandeln³⁸⁷ и сладостные Pfannkuchen³⁸⁸, а часовая стрелка показывала уже половину седьмого.

Маша до сих пор не являлась.

Госпожа Шиммельпфениг решительно терялась и негодовала от столь дерзко продолжительного отсутствия своей прислуги; господин же Шиммельпфениг, сообразив, что для исполнения возложенного на нее поручения было более чем достаточно двух с половиной часов, очень хладнокровно сказал, что надо будет сделать ей вычет из жалования, и принялся рассчитывать, сколько именно грошей, со всей строгою справедливостью, необходимо будет ему

³⁸⁷ Картофельный суп и жаркое из телячьих ребер с изюмом и миндалем (нем.).

³⁸⁸ Блинчики (нем.).

вычьсть, как вдруг немка-кухарка объявила, что Маша возвратилась, только какая-то странная – на себя непохожа.

Господа Шиммельпфениги приказали позвать ее.

Через силу двигая ноги, вошла к ним молодая девушка, – бледная, истомленная, с ярким, лихорадочным взором, и остановилась в дверях, придерживаясь слабою рукою за притолоку.

– Это что значит?.. Где это изволила быть? – сдержанно-строго спросил Карл Иванович, меряя ее тем взором, которым иногда в нужных случаях имел обыкновение мерить своих маленьких подчиненных. Карл Иванович в высшей степени обладал умением напускать на себя эту немецки-начальственную ледяную строгость, и никак не мог удержаться, чтобы внутренне не любоваться на самого себя в эти минуты, особливо же, когда замечал, что этот взгляд и манера производят свое достоительно-внушительное впечатление.

Но Маша, казалось, будто и не заметила того холода, которым предполагал обдать ее Карл Иванович; по крайней мере ни его тон, ни его взоры не произвели на нее никакого видимого эффекта.

– Где ты была? – возвысив голос на несколько строгих нот, воскликнули разом обое господ Шиммельпфенигов.

– Я... я больна совсем... извините меня... – с усилием проговорила девушка.

– Снесла ты платье?

– Снесла...

– Так где же ты шаталась столько времени?

Маша ничего не ответила на это. Она и сама хорошенько не знала, что с ней делалось и где, в самом деле, прошаталась столько часов. Немая кручина, обуявшая ее душу, бессознательно вела ее куда-то – без цели, без мысли: организм не просто требовал движения: ему нужно было уходиться, умяться, чтобы сбросить с себя то возбужденное состояние, в каком находился он с той самой минуты, как, подавляемая тяжестью глухих рыданий, выбежала Маша из магазина. Утомилась и опомнилась она на одной из тех гранитных, полукруглых скамеечек, которые помещаются позади высоких фонарей на Николаевском мосту.

Смутным тяжелым взором огляделась она вокруг. Мимо снуют пешеходы, ваньки, экипажи, omnibusы; в конце моста красновато-яркий свет заливает сверху, из купола, мозаичный огромный образ в черной мраморной часовне; а прямо – и перед нею, и позади нее – темно-серая равнина застывшей Невы представляется каким-то непроницаемо-мутным, безразличным пространством, которое далеко по краям замыкается бесконечными рядами зажженного газа, и эти ряды светлых, мигающих точек, цепью охвативших темную равнину, только увеличивали собою контраст мрака и света, и казались какими-то фантастическими, одушевленными существами.

Маша с трудом поднялась с гранитной скамейки; слабые и усталые ноги ее тряслись, поясницу ломило, во всех мускулах ощущалась глухая боль, словно бы они палками были избиты, голову разломило, и была вся она в огне, тогда как тело внутренний озноб пронимал. Совершенно больная, с усилием доплелась она кое-как до дому, где встретило ее справедливое негодование господ Шиммельпфенигов.

– Так где же ты шаталась, спрашиваю тебя? – настойчиво повторил Карл Иванович, озадаченный тем, что ни тон его голоса, ни взгляд его глаз не производят своего впечатления.

– Я больна... позвольте мне лечь... я едва на ногах стою, – тихо проговорила Маша.

Супруги переглянулись, как бы вопрошая друг друга, что им предпринять в настоящем случае.

– Она пьяна! – домекнулась госпожа Шиммельпфениг.

Господин Шиммельпфениг потянул вверх носом и издал такое мычание, которое обозначало, что он только теперь догадался, в чем настоящее дело.

– Хорошо, голубушка!.. Теперь ступай, а завтра мы поговорим с тобою, – сказал он угрозливый тоном. – За все ответит твое жалованье. Ступай!

Маша удалилась, шатаясь от слабости; но вдруг Карл Иванович с ужасом увидел, что физиономия Луизы Андреевны снова вытянулась и изображает крайнюю степень душевного потрясения.

– А!.. Теперь я понимаю!.. – задыхалась она шипящим голосом. – Эта тварь пьяна, вы пьяны... Теперь я все понимаю!.. Да, это был завтрак у товарища!.. Да, это был завтрак, презренный человек!..

И Карл Иванович снова должен был выдержать самый величественный шторм.

Луиза Андреевна требовала немедленно удаления развратной твари, оскорблявшей одним своим присутствием ее честный и высоко нравственный дом.

– Пусть идет, куда хочет! Пусть ночует хоть на улице, только не здесь! – неистовствовала она, хлопая дверьми и бегая по всем комнатам. – Вон! Вон сию же минуту! Я в моем доме разврата не потерплю! Дворника сюда! Дворника! Пусть вышвырнут эту мерзкую тварь!

Кухарка позвала дворника.

Не обращая внимания на неистовства госпожи Шimmelпфениг, Маша попросила нанять ей извозчика и свезти в больницу.

Карл Иванович, по давней привычке своей к подобным демонстрациям любящей супруги, сидел у себя в кабинете и с примерным хладнокровием, для виду, держал перед собою лист санкт-петербургской немецкой газеты доктора Мейера, тогда как фантазия его обреталась далече от этих печатных строчек и соблазнительно рисовала пухленькие привлекательности Минны Францевны Биттервассер.

Дворник нанял извозчика и привел соседнего свободного подчаска, который должен был отвезти и сдать больную по назначению.

Маша наскоро собралась, крепко закуталась в платок, накинула бурнусишко и захватила с собою свой вид да три рубля – единственные деньги, оставшиеся у нее, за кой-какими расходами, еще от прежней жизни, после распродажи с аукциона всего ее имущества. Полицейский под руку свел ее с лестницы и уселся рядом в извозчичьи сани. А госпожа Шimmelпфениг в это самое время уже металась на своей постели в раздирательном припадке истерики.

V В БОЛЬНИЦЕ

Извозчик дотащился до подъезда одной из ближайших больниц. Подчасок пошел извещать о привезенной больной, но в ту же минуту вернулся вместе со швейцаром, который решительно объявил, что мест у них в больнице нету.

– Да как же это, почтенный? – возразил ему солдат: – Так-таки ни одной кровати?

– Так-таки и ни одной.

– Да ведь запасные, чай, должны же быть?

– Мало ли что должны! Сказано: нету, ну, и нету!

– Эко дьявольское дело! Это, стало быть, мне теперь снова придется тащить ее в другую больницу!..

– Ну и тащи!

– Да, тащи! Черта ли мне возиться с нею... Я брошу, делайте, как знаете! Мне что!

– Да ведь уж не примем, то-ись ни-ни, боже избави!

– Слышь ты, везти тебя, что ли, в другую куда, али тутотки бросить? А? – отнесся подчасок к Маше.

– В другую, – простонала та.

– В другую... Да мне что же, говорю, валандаться-то с тобою! Время только терять, право так! Уж ты лучше сама, как знаешь... Чай, я не родня тебе, чтобы дарма хлопоты принимать.

– Я заплачу, – слабо ответила Маша.

– Ну, ин разве так! Эй, почтенный! Вы уж коли не хотите взять ее, так выдайте нам по крайности отказной лист.

– Какие там тебе еще листы! Писать лист, так надо и освидетельствовать, а у нас дежурный только что започивал да не приказывал будить. Ладно, и без отказного уедете!

И швейцар, ежась от холоду, скрылся за стеклянную дверью.

– Ы! штоб вас!.. – проворчал подчасок и приказал ехать в другую больницу.

В другой – та же самая история.

– Кроватей не имеется. Поезжайте в N-скую.

– Да мы сейчас только оттуда.

– Покажи отказной!

– Да не дали нам отказного. Дайте хоть вы-то!

– А нам что! Вези ее хоть в полицию.

– Ну, что ты, и в самом деле! Не пьяная ведь, а как есть хворый человек. Да дайте же, что ли, прости вы экие, отказной-то, а нет, я точно в полицию отвезу, да там всю штуку и брякну. Ведайтесь тогда!..

– Нашел, дурень, страх какой! За это бы тебя взащеи отседова! Ну, да ин ладно уж: тащи в приемный – там освидетельствуют и пропишут.

Маша должна была сойти с извозчика. Дежурный доктор осмотрел ее в приемном покое и подписал отказной лист, с которым надо было ехать в третью больницу.

В третьей оказались свободные кровати, но... надо было ждать на улице: швейцар не пускал в приемную.

– Пошто не впустить! Не на морозе же нам тут зябнуть! – протестовал подчасок.

– Нельзя, потому – не порядок! – величественно возразил ливрейный швейцар.

– Да поколева же дожидаться?

– Дежурного нету: без дежурного нельзя.

– Так хоть фершала кликни, пушай хоть он ее примет.

– Обожди маленько – сейчас придет, на фатеру побежал к себе чуточку: сейчас вернется.

Швейцар ушел, словно бы его долг был уже исполнен. Маша забилась с головой под дырявую полость, чтобы ветер не так поддувал, и сидела, скорчившись да съежась, на дне санок, и слышала оттуда, как энергически чертыхался полицейский подчасок, топчась на одном месте, да как ныл недовольный извозчик, что лошаденка у него, почитай, совсем заморилась, а ты еще стой тут занапрасну – скольких седоков упустил-то. И каждый из них был прав по-своему.

Прошло около получаса, пока наконец явился фельдшер и милостиво соизволил допустить больную до приемного покоя.

– Жди, пока доктор придет, – отнесся к ней фельдшер и указал на деревянную скамью, на которой уже находились в полулежачем положении две больные: старуха, вся обмотанная каким-то грязным и ветхим тряпьем и сидевшая без движения, прикинув к стене головою, да лет пятнадцати девочка, которая стонала и металась в горячечной тоске. Обе были чрезвычайно трудны, обеим требовалась настоящая и скорая помощь – и обе меж тем уже около часу дожидались на жесткой скамье приемного покоя.

Маша в изнеможении опустила между ними.

– Дай же, что ль, извозчику заплатить – не даром же катал тебя, – обратился к ней вошедший подчасок.

Та порылась у себя в кармане и подала ему единственную свою трехрублевку.

– Э, надо будет пойти разменять, – сообщил солдат, раздумчиво глядя на ассигнацию, – сдачу получишь, я отдам там, кому следует.

Но отдал ли он кому, получил ли кто от него – неизвестно, потому что Маша не добилась потом на этот счет никакого толку, – так и канули куда-то ее последние деньги.

Приемный покой выглядел как-то мрачно и неприветливо. Маятник на стене монотонно тукнул, да скрипело гусиное перо под рукою фельдшера, строчившего что-то в углу за черным столом. Одинокая свеча, горевшая перед ним, весьма тускло освещала эту комнату, а хриплое дыхание старухи да надрывающие душу стоны горячечной девочки сообщали этой комнате уныние невыносимое. Но фельдшер давным-давно уже закаленный и окаменелый среди явлений подобного рода, казалось, будто и не слышал ни этих стонов, ни хрипоты. Он продолжал себе строчить самым равнодушным и спокойным образом, словно бы здесь не было ни одного живого существа. Пописал-пописал малую толику и вышел из комнаты. Трое больных остались одни, предоставленные самим себе и всеблагому провидению. Прошло более получаса, пока возвратился фельдшер, к которому через силу обратилась Маша, прося позвать доктора.

– Ну, подождешь, невелика беда! Какое важное кушанье! И почище тебя ждут, случается! – возразил на это фельдшер и бесцеремонно, громким голосом крикнул в открытую дверь: – Севрюгин! Ходил ты, черт, за дежурным?

– Ходил! – лениво махнув рукою, ответил служитель.

– Что же он?

– Да все там, у главного в карты дуется. Сказал: пушай ожидают.

– Сходи, что ль, еще раз.

– Чего там «сходи»! Ругаться ведь будет... Бегать-то только попусту двадцать раз – чего им и в сам-деле! И обождут! Невелика беда!

Девочка пуще принялась стонать и метаться.

Фельдшер, заложив руки в карманы и посвистывая что-то себе под нос, подошел к ней фланерской походкой, постоял, поглядел и, не без писарской грации, круто повернувшись на каблуках, пошел себе похаживать из угла в угол по комнате.

– Ишь, тоже дьяволы!.. Христа ради, как нищих каких, принимаешь их в больницу, – поваркивал он сквозь зубы, на ходу, с неудовольствием косясь на трех женщин, – а они еще претензии свои заявляют! Где бы начальство за милость благодарить, а они еще – на-кося! – претензии!.. – И через пять минут снова удалился куда-то из приемного покоя.

Прошло еще добрых полчаса, в течение которых глухая тишина нарушалась только туканьем тяжелого маятника и стоном девочки. Старушечьего хрипенья уже не было слышно. Сперва еще, время от времени, старуха эта «конвульсивно слабо подергивалась плечами, а теперь сидела уже совсем без малейшего движения, только голова от стены отделилась и на грудь повисла.

– Доктора!.. Бога ради, доктора, – простонала Маша, едва фельдшер снова показался в дверях.

– Эко зелье какое! Чего пицишь-то, – огрызся он на нее, проходя к своему столу, – будь и за то благодарна, что в приемный покой впустил, а то бы и до сих пор у подъезда на дворе дожидалась. Молчи, знай! Придет тебе доктор, когда время будет.

И через несколько времени дежурный доктор действительно появился в комнате, весьма аппетитно зевая перед сном грядущим.

Прежде всего подошел он к старухе, которая помещалась ближе всех от двери.

– Ну, ти что? – спросил он с сильным немецким акцентом.

Та не отвечала и не двигалась.

– Ну, атфичай, что ти? – повторил он, толкнув ее рукою.

Старуха от этого движения покачнулась и тихо навалилась на Машу. Эта быстро отодвинулась в каком-то инстинктивном испуге. Вслед за тем старуха и совсем уже брякнулась головой об скамейку.

– Дай свеча! – приказал доктор и при свете приподнял пальцем закрытый глаз ее.

– Зашем мертви принималь? Зашем? – с неудовольствием накинулся он на фельдшера.

– Да она еще живая была, ваше благородие, – оправдывался этот, – она, должно полагать, недавно еще. Я и то не хотел принять ее, потому говорю: все равно помирающий человек, а он – мужчина какой-то – выбросил ее из саней, а сам ускакал... Я не виноват-с.

Доктор ограничился тем, что сказал ему дурака и распорядился отнести труп в мертвецкую, да на завтра вскрытие назначить, и подошел к девочке, которая металась в полнейшем беспамятстве. Заглянув ей в синее лицо и пощупав пульс, он только весьма лаконически проговорил: «Тиф», – и обратился к Маше. Та кое-как передала ему, что чувствовала.

– Туда же! – распорядился доктор и направился в свою дежурную комнату, где его ждали сладкие объятия Морфея.

* * *

Одна из прислужниц, в тиковом платье, повела наверх Машу, поддерживая ее под руку, а другая, вместе с фельдшером, поволокла туда же тифозную девочку. Они именно волокли ее, немножко в том роде, как обыкновенно полицейские волокут пьяных. Девочка металась и стонала, и бессильные ноги ее колотились о ступени каменной лестницы.

В палате, где предназначено было лежать двум вновь поступившим больным, стояли две свободные койки. Одна из них опросталась потому, что утром выписалась из больницы выздоровевшая пациентка; другая – потому, что часа четыре тому назад на ней умерла женщина, страдавшая сильными ожогами по всему телу, полученными ею во время ночного пожара в своей квартире. Гной и пасока из ее ран текли на постельное белье и просачивались сквозь него на скудный тюфяк, несмотря на клеенчатые подстилки, которые до того были ветхи, что почти совсем пооблупливались и попрорывались. Белье после покойницы еще не было снято. И эту самую кровать предстояло теперь занять Маше, которая пришла в немалый ужас, когда прислужница отвернула до половины вытершееся от времени байковое одеяло.

– Как!.. На это лечь?! – невольно воскликнула Маша.

– А что ж такое? – хладнокровно возразила сиделка. – Почему не лечь!

– Да ведь тут гной!..

– Ах, да, гной-то! Ну, так что ж? Белье сейчас переменяем. Это не беда!

– Да вы хоть бы тюфяк переменяли, – вступилась одна из больных с соседней койки. – Как же, после мертвого человека, так прямо и ложиться на то же место! Господи помилуй, что это вы делаете!

– Ты чего там? Лежи, знай, коли бог убил! – огрызнулась на нее служанка.

– Нет, уж как хочешь, мать моя, а этого нельзя! – продолжала больная. – Эдак-то у вас и без смерти смерть. Запасные, чай, есть тюфяки-то?

– Да, стану я еще бегать по ночам к черту на кулички! Потом переменят.

Некоторые из больных подняли довольно громкий ропот, услышав который, прибежала надзирательница, поспешившая устроить себе начальственно-грозную физиономию.

– Што за шум? Это што такой? Тиши! – распорядилась она, притопнув ногою. Надзирательница тоже была немка. А немецкий элемент, сколько известно, есть элемент преобладающий как в администрации петербургских больниц, так и между петербургскими врачами.

Служанка пожаловалась ей на больную, осмелившуюся протестовать против тюфяка.

– А!.. Бунт!.. Карашо!.. Вот я будийт завтра главни доктор жаловаться!.. Я вам дам бунт!.. Карашо!.. Карашо же! – грозилась немка, мотая головой и расхаживая по комнате.

Пока все были заняты этой сценой, служанка, раздевая почти бесчувственную девочку, обшарила ее карманы и, нащупав на носовом платке маленький узелок, в котором были завязаны две-три серебряные монетки, поспешно сунула его к себе в карман, озираючись, чтобы кто-либо не подметил ее ловкой эволюции.

Несколько больных между тем продолжали свои громкие жалобы, стараясь обратить внимание надзирательницы на зараженный тюфяк из-под покойницы.

– Что нас главным стращать! – говорили они. – Мы сами будем жаловаться, как попечители приедут, сами все им расскажем.

Немка походила-походила, подумала-подумала и сообразила, что в самом деле лучше будет приказать, чтобы принесли Маше свежий тюфяк.

– О, штоб вас!.. Дьяволы! – со злобой ворча про себя, отправилась служанка исправлять ее приказание, ибо ей лень было идти в больничный цейхгауз и тащить наверх свежие вещи.

С невольным неприятным чувством легла Маша в постель, зная, что на этом самом месте, на этой самой кровати, за четыре часа до нее, умерла в страшных мучениях женщина. «А завтра еще кто-нибудь умрет, – думалось ей в лихорадочном жару, – а там, может быть, и я... Да, и я!.. и я!..» – понимала ее дрожь при этой мрачной мысли, потому что и самая обстановка больничной палаты как нельзя более способствовала усилению подобного настроения.

Теплый и тяжелый воздух, насыщенный больными испарениями и запахом разных мазей, в разных углах – то удушливый кашель, то глухие, страдальческие стоны трудно больных; брезжущий слабый свет от единственной сальной свечи, вставленной в воду, которою наполнен длинный цилиндр жестяного подсвечника, стоящего на полу у печки и весьма напоминающего собою те подсвечники, что обыкновенно ставят над покойниками; длинные халаты словно саваны, болтающиеся на тощих фигурах, тихо бродящих по комнате, вроде каких-то теней; шепотливый говор выздоравливающих и громкая перебранка двух пьяноватых служительниц, которую из соседнего коридора гулкое эхо разносит по смежным комнатам, – вот какую с первого раза представилась эта больничная палата грустным глазам заболевшей Маши. Нельзя сказать, чтобы впечатление, навеянное такой обстановкой, заключало в себе что-либо светлое и успокоительное.

Никто не почел нужным осведомиться у Маши, ела ли она что сегодня, не надобно ли ей чего; никто и первого медицинского пособия не дал ей в первые часы поступления ее под филантропическую кровлю общественной больницы. Да и кому было думать об этом? Дежурный врач, заигравшийся в карты у своего начальника, слишком хотел спать, для того, чтобы ломать голову над изысканием каких-либо пособий, дежурному фельдшеру с надзирательни-

цей что за дело без доктора думать о таких вещах, тем более, когда он объявил, что хочет спать и просил не беспокоить себя, – желание, которое необходимо надо исполнить, потому что он состоит в слишком приятельских, дружелюбных отношениях с главным доктором. Да зачем эти первые пособия, если – все равно – завтра утром вновь прибывших больных осмотрит палатный ординатор? Кому предназначено умереть, тот умрет и с медицинскими пособиями точно так же, как и без оных, а кому предназначено выздороветь – тому обождать до утра вовсе неважное дело. Так рассуждают относительно этого дела некоторые господа, заинтересованные в нем непосредственным образом, и нельзя не согласиться, что подобное рассуждение имеет на своей стороне много фаталистической основательности. Ночь провела Маша беспокойно, и от болезни, и с непривычки спать в людной комнате, под аккомпанемент кашля, хрипенья и стонов. Под утро, только что забылась она несколько более спокойным сном, как вдруг в восьмом часу утра была разбужена топаньем разных шмыгавших ног, стуком половых щеток, громким говором прислужниц и некоторых больных, но более всего неприятно подействовал на нее холод, резкий, сырой, почти уличный холод, который проникал к ней под плохенькую байку.

Маша раскрыла глаза и огляделась. Две служанки размахисто мели пол и подняли целый столб пыли; мимо дверей два служителя пронесли на носилках длинный, таинственно-черный ящик по коридору, где по-вчерашнему же была слышна перебранка – верно, спорщицы и до сих пор еще не успели покончить свои счеты, а в раскрытую форточку клубами валил сырой воздух, отчего многие больные тщетно кутались в байку, забиваясь под нее с головою, и тряслись, щелкая зубами.

Маша чувствовала, что ей сильно ломит голову, с трудом поднялась она, чтобы от холоду прикрыть себя поверх одеяла своим больничным халатом, как вдруг подошла к ней сиделка и, выдернув халат, положила его на прежнее место.

– Мне холодно, – с недоумением отнеслась к ней Маша.

– Все равно, только этого нельзя, – решительно возразила сиделка.

– Да мне холодно... я покрыться хочу...

– Не велено халатами покрываться: доктора запрещают. Это не порядок, на это одеяло есть...

– Ах, боже мой! Ну, так хоть форточку закройте!

– Как можно запереть, когда только что открыли? Пусть хоть с десять минут побудет. Вы думаете, с вами легко тут дышать-то? С нас тоже начальство требует, чтобы воздух свежий был, – очищать да проветривать приказано.

И – хочешь, не хочешь, а пришлось дрогнуть под байкой.

В девять часов пришел ординатор, осмотрел Машу и нашел, что у нее сильная простуда. Осмотрел он и девочку, причем сообщил фельдшеру, чтобы на ее доске поместил: «Typhus».³⁸⁹

– Господин ординатор, – вступилась при этих словах ее соседка, старуха-чиновница, которая лежала тут по недостатку места на «благородном» отделении, – как же это... извините-с... ведь тут у нас не тифозная палата-с.

Ординатор смерил ее удивленным взглядом:

– Ну, так что ж, что не тифозная?

– А как же это тифозную положили?

– А зачем ее, в самом деле, положили сюда?..

– Мест больше нет, ваше благородие! Тут свободная койка была.

– Могли бы койку в тифозную перенести, – снова вмешалась старушка.

– Это не ваше дело, – холодно и строго заметил ей ординатор.

³⁸⁹ «Тиф» (лат.).

– Извините-с, мой батюшка, – продолжала чиновница, – только что же это будет, коли от нее да мы заразимся?

– Ну, заразитесь, так будут лечить, а не в свое дело прошу не мешаться, – радикально порешил ординатор и пошел по порядку осматривать остальных женщин своей палаты.

К десяти часам ждали обычного визита со стороны главного доктора, который имел обыкновение, в виде служебного долга, прогуляться по всем палатам и затем торопился уехать к своим пятирублевым пациентам. По случаю этой предстоящей прогулки, по всему больничному зданию, ради парада и приличия, обильно наचाдили ароматической смолкой, от дыма которой больные, одержимые удушливым кашлем, закашляли еще сильнее.

Немка-надзирательница торопилась придать комнатам отменно лоснящийся, парадный вид. Если случались пустые кровати, то она самолично взбивала подушки и покрывала их чистыми тканевыми одеялами, дабы постели имели пышный и мягкий вид, на случай, если бы вдруг пожаловал кто-нибудь из почетных посетителей, что однако ж отнюдь не препятствовало нижним наволочкам и простыням оставаться грязными, байкам – вытертыми, а тюфякам – слежалыми до крайнего отошения. Так точно и посуда оловянная сияла наружной чистотой, которая не распространялась на ее внутренность, причем любопытный мог бы заметить на дне этих сияющих кружек целый слой застарелого густого бурого осадка от различных напитков и лекарств, потребляемых больными. Кружки только терлись и чистились снаружи, а мыть их внутри было бы слишком много труда для прислуги и для внимания надзирательницы, которая смотрела на это дело с философской точки зрения: больные, мол, больше все из простого звания, к чистоте не приобькли, им-де все равно, потому все это в одну и ту же утробу идет. Зато относительно наружной стороны больницы и немецкий доктор и немецкая надзирательница постоянно удостоивались великих похвал и благоволений со стороны важных почетных посетителей.

Опасения старушки-чиновницы сбылись; некоторые действительно заразились тифом, а некоторые, заразившись, благополучно успели и к праотцам отправиться. Но судьбе почему-то угодно было уберечь Машу от этой спокойной доли. Простуду ее, соединенную с легкой горячкой, успели все-таки захватить вовремя, не дав развиться болезни до полного совершенства. Молодая и здоровая натура ее взяла все-таки свое, так что через полторы недели Маша стала уже поправляться.

Но тяжки порою бывали для нее дни и ночи во время ее болезни – тяжки именно тем, что она поневоле должна была быть свидетельницей самых безотрадных, самых трагических сцен в этой грустной больничной жизни.

Нечего уж говорить о том, как иные голодные выздоравливающие женщины жадно, вперебой друг дружке, накидывались на обеденные порции овсянки и мутной и жидкой безмасленной кашицы, как плутовали с этими порциями, утаскивая и пряча под кровать лишнюю тарелку бурды, отчего всегда кто-нибудь должен был оставаться без обеда, или как воровались эти порции у трудно-больных да у тех, кто имел маленькую оплошность соснуть в обеденный час. Нечего долго рассказывать и о том, как заболтавшаяся или отлучившаяся прислужница, позабыв и просрочив время, когда больной нужно было дать лекарство, преспокойно выливала в песочницу оставшуюся ложку, чтобы на глаз лекарства оставалось в нужную меру, или как иная сострадательная сестра милосердия из молоденьких смотрит порою гораздо более на красивого фельдшера, чем на больных, подлежащих ее бдительному милосердию. Все это – обстоятельства слишком обыденные и слишком мелочные в больничной жизни. Есть в этой жизни обстоятельства – положим – хотя и столь же обыденные, но зато несколько более крупного свойства.

Без ужаса и содрогания не могла Маша вспомнить двух сцен, разыгравшихся в течение одних суток.

Больничная формалистика разрешает родным и знакомым свидания с больными только в определенные часы дня: по окончании обеда до пяти часов пополудни.

Однажды в палату вбежала бледная, очень бедно одетая женщина, с крупными слезами на испуганном лице, и тревожными взорами спешно стала искать по койкам ту, о которой болело ее сердце, и вдруг с тихим воплем стремительно кинулась к тифозной девочке. Это была ее мать. Только сегодня узнала она про болезнь своей дочери, которая была отдана ею в учение к содержательнице белошвейного магазина, тогда как сама она жила на месте в кухарках, только сегодня сказали ей, что девочка отправлена в больницу, когда она, ничего не зная, случайно зашла в магазин проведать ее. Мать тотчас же кинулась в больницу – не впускают, потому – определенное время посещений еще не настало. Она плакала, умоляла, совала швейцару в руку свои последние гроши, а все-таки должна была больше часу ждать у подъезда, мучимая тоской сомнения и ожидания. С рыданием припала она к голове своей дочери и долго-долго не могла от нее оторваться, нежно нашептывая ей добрые, ласковые материнские слова; но девочка ничего не слышала: она, как пласт, лежала в полном беспомоществе и только грудь ее медленно и высоко вздымалась под трудным дыханием. В эти минуты мать инстинктивно почуяла, что ее детище домучивается свои последние часы. Она и не заметила, как пролетел срок, определенный для свиданий, и с испуганным недоумением покосилась на сиделку, когда та подошла к ней с извещением, что пора кончить. Она, казалось, даже не разобрала, не поняла этих слов и продолжала шептать нежные слова над головкой умирающей девочки.

Сиделка меж тем, видя, что слова ее не имели успеха, позвала надзирательницу. Эта строго приказала матери удалиться.

– Уйти?.. Как?.. Зачем?.. От Машутки уйти? Да она помирает... Куда ж я пойду?.. – бормотала растерявшаяся женщина, не зная, на кого ей глядеть – на немку ли, которая ей приказывала, или на дочь, к которой рвалось ее сердце, ее мысль, а вслед за ними и взоры невольно тянулись.

– Эти беспорядок! Эти нельзя! Пять часов уже биль! – настаивала немка.

– Милые мои!.. да ведь я никому не мешаю... я ведь тихо... Позвольте остаться: помирает ведь – совсем помирает... Господь вам за меня пошлет!.. Позвольте, милые! – шепотом умоляла мать.

Но надзирательница настаивала на том, что никак не можно допустить такого беспорядка, и что если она не уйдет сама, то ее выведут. Женщина не слушала этих резонов и с тихими слезами любовно целовала синеватый лоб умирающей.

Две сильные служанки подхватили убитую горем мать и оттащили ее от постели.

Та было вырвалась от них и с воплем кинулась к дочери, но ее успели подхватить вовремя и повлекли из комнаты. Силясь обернуться, чтобы в последнее взглянуть на своего ребенка, эта женщина громко рыдала и посылала торопливою рукою благословения умирающей девочке. Ее свели с лестницы, но под сводами все еще раздавались рыдания и вопли, а так как это вполне уже нарушало всякий порядок, то ее, за такую продерзость, кажется, отправили в полицию.

Больные возмущались и роптали; но что значит ропот какой-нибудь горсти больных и нищих женщин, кому он нужен и кто его услышит! И вправе ли, наконец, были они, призренные общественным филантропическим учреждением, вправе ли они были роптать и возмущаться там, где в подобном поступке проявилось торжество установленного порядка?

К ночи страдания тифозной девочки усилились: она пуще стала метаться по постели, потому что уже начиналась последняя борьба жизни со смертью – подступал период агонии, и вместе с тем из уст ее вырывались жалобные хриплые крики:

– Ой, жжет!.. Ой, горит!.. Ой, душно мне!.. Ах, дайте воды!.. воды напиться!.. Христа ради, воды... печет меня, печет! – стонала и металась больная, но на ее предсмертные мольбы ни надзирательница, ни прислужницы не нашли нужным обратить хоть какое-нибудь внимание.

Между тем эти крики надрывали душу и драли слух больных женщин, одна из которых поднялась с постели, чтобы напоить умирающую.

– Ты куда! – окликнула ее служанка, преспокойно сидевшая в углу, сложа руки. – Не тронь ее!

– Да ведь слушать – смерть! Просит-то как! Аль не слышишь?

– Мало ли чего просит!.. Ты думаешь, она и в самом деле хочет пить? Это так только, бред один. Помирает, вишь, так вот и бредит от этого, – пояснила служанка, и, как ни в чем не бывало, стала подстилать себе на полу у печки ночное ложе, составленное из больничных халатов.

Давно уже пробило двенадцать часов, а хриплые стоны девочки все еще продолжались. В палате давно уже наступила ночная тишина, но некоторые из больных не спали: лежа по своим койкам, они поневоле должны были слышать эти беспомощные мольбы и тщетные вопли, которые, между прочим, мешали сладко уснуть служанке, явившейся на свой пост немножко под хмельком.

– О, штоб тебе, лешему, околеть скорей! – проворчала она, сердито поднявшись с полу, и, подойдя к постели умирающей, выдернула у нее из-под головы подушку, которую преспокойно положила на свое собственное место.

– Бога в тебе нет!.. Зачем подушку выдернула?.. От умирающего-то человека!.. Каинское вы семя, что вы делаете? – в ужасе возмутилась соседка тифозной девочки.

– А зачем ей подушка? – огрызнулась служанка. – Все равно помирать-то, что на одной, что на двух! Может, так-то еще поскорей отойдет. Эка пискунья! Покою целую ночь нету от проклятой! Ну, да! Как же, как же! Пищи, пищи! – бормотала она про себя, снова укладываясь на свое ложе. – Пищи! Так вот я и встала сейчас для тебя! Дождись!

– Ой, жжет!.. Ой, горит!.. Матушка, родная моя, горит, горит нутро мое... водицы!.. – раздавались меж тем стоны несчастной девочки, и раздавались непрерывно до четвертого часа ночи, пока наконец не порвался этот голос, заменяясь последним гортанным хрипением, но и то вскоре смолкло – и конвульсивные движения прекратились: девочка лежала спокойно, неподвижно, и широко раскрытые глаза тускло, безжизненно глядели теперь на спящую соседку. Под утро, с первым брезжущим рассветом, соседка проснулась, случайно взглянула на раскрытые глаза покойницы и, повинувшись безотчетному движению, сперва было вздрогнула и отшатнулась, но тотчас же перекрестилась набожно и покрыла простынею лицо мертвой девочки.

Прислужница меж тем спала пьяно-безмятежным сном.

В семь часов утра явились двое рабочих, из солдат, и принесли с собой черный, обитый клеенкою ящик, вроде тех длинных картонок, куда кладут дамские платья. Маша видела, как сняли они покойницу с кровати, и слышала, как брякнулись ее пятки и как стукнулся затылок об дно деревянного ящика и как захлопнулась на нем крышка.

Одной свободной койкой стало больше в больнице и одной страдальцей меньше на земле, койка ждала новой кандидатки на тот свет, – но зрелище смерти, столь обычное в, больницах, даже и из больных-то мало на кого сделало впечатление. Одна только Маша долго не могла забыть его, и долго возмущалась душа ее при воспоминании о том бессердечии, с каким относится больничная филантропия к этим жалким существам, которые имели несчастье попасть под ее благое попечение.

Да, эта бессердечность обращения становится поистине изумительною. Все те больничные сцены, которые вкратце набросаны нам, вся процедура приема в больницу и прочие милые вещи – все это можно было бы отнести к области смелой фантазии, мало того: все это можно было бы счесть за дерзкую клевету, если бы не существовало на свете слишком много свидетелей, которым, по собственному опыту, приходилось видеть вещи еще более горького свойства и которые своим голосом могут подтвердить справедливость рассказанного. Этот немецки-татарский педантизм и эта отвратительно-грубая прислуга, в которую нанимаются за ничтожную плату весьма сомнительные личности – более добросовестные за столь скудную плату не берут на себя такую ответственность и весьма тяжелый труд больничного ухода, – все это в

совокупности составляет разгадку тех причин, по которым народ наш избегает лечения в больницах, предпочитая валяться и умирать в своих гнилых, промозглых от сырости, голодных и холодных трущобах. Это факт слишком общеизвестный и слишком печальный. Зато сколь благоденственно и тепло живет на свете равным больничным начальствам! Зато какая внешняя чистота, лоск и порядок господствуют в наших больницах! Зато с каким идиллическим, бараньим самодовольствием бьются сердца почетных филантропов-посетителей, видящих только этот наружный лоск и официальный порядок! Зато, наконец, эти прекрасные, обширные здания, с громкими надписями на своих фронтонах – какая великолепная для глаз вывеска нашей гуманности и общественной филантропии, над которой, впрочем, обществу не дано ни малейшего контроля, но на которую, тем не менее, с беднейшего рабочего населения нашей столицы взимается особенный налог в виде больничного сбора – налог за право издыхать подобно паршивой собаке, от равнодушия и бессердечия, скрытно гнездящихся под этими громкими филантропическими вывесками.

VI ПОСЛЕДНИЙ РАСЧЕТ С ГОСПОДАМИ ШИММЕЛЬПФЕНИГАМИ

Машу выпустили из больницы. Куда идти? Конечно, на старое место, к Шиммельпфенигам, где оставались кое-какие вещички ее да жалованье за прожитое время.

«Остаться у них или нет? – думала про себя Маша, у которой, кроме Шиммельпфенигов, не предвиделось впереди никакого приюта. – Ну, конечно, оставаться, если... если... оставят!»

Ей было горько и оскорбительно на самое себя, принявши такое решение: самолюбие и гордость человеческого достоинства, столь много и неправо оскорбляемого в этом доме, представляли свой протест против ее решения; голод же и холод с перспективой темной неизвестности в будущем заставляли ее рассудок и физическую природу поневоле подчиняться пока избранному решению. Она явилась к Шиммельпфенигам.

Там уже, на ее месте, вертелась новая горничная, далеко не привлекательная собою, о чем весьма тщательно и преимущественно позаботилась Луиза Андреевна при выборе – во избежание, на будущее время, каких-либо соблазнов с этой стороны для Карла Ивановича. Ее взяли на место во время болезни Маши.

– А, явилась голубушка! – встретила последнюю госпожа Шиммельпфениг, когда та предстала пред ее кошачьи очи. – Что надобно?

– Я хотела бы знать... как насчет места? – смущенно выговорила Маша, досадуя на самое себя за необходимость этого объяснения. – На время ли взяли новую служанку или совсем?

– От места прочь! – коротко и сухо порешила Луиза Андреевна.

– Но у меня за вами еще жалованье есть.

– Надо вычет... без вычета не можни. Вот Карл Иванович придет, он сделает.

Пришлось подождать Карла Ивановича, который часа через полтора явился – самодовольный и розовый: дела его по службе были отменно хороши, дела по части сердца тоже устроились – он уже мог назвать себя счастливым обладателем пухленькой Минны Францевны, причем бумажник его не терпел ни малейшего экономического отошания.

Снова призвали к себе Машу господа Шиммельпфениги. Они приуговорились упорно рассчитывать с нею, упорно отстаивать каждую копейку, если бы только оттянуть ее представилась хоть какая-нибудь возможность. Карл Иванович держал в руках записную тетрадку и реестры вещей, принятых Машей, при поступлении.

– Тебе было сдано все по счету – ты это, конечно, помнишь? – отнесся к ней господин Шиммельпфениг.

Маша сделала утвердительный знак головою.

– При сдаче вещей новой горничной некоторых налицо не оказалось. Где они?

Маша вспыхнула и закусила губы от негодования. Неужели же ее еще и в воровстве подозревают? Этого только недоставало!

– Я, кажется, ушла от вас в больницу не тайком, а при людях, – отвечала она, сдерживая свое чувство, – унести с собою мне было нечего, да и некуда.

– Я этого не знаю, и потому об этом не говорю, – уклончиво возразил Карл Иванович. – Я знаю только то, что по этому реестру ты приняла вещи, а теперь некоторых нет. Где они?

– Какие же это вещи? – спросила Маша.

– Нет одного чайного полотенца, одного блюдечка и одного стакана. Одну пару моих носков тоже нигде отыскать не могли.

– Кухонни полотенца одно тоже нет, – поспешила вернуть словечко Луиза Андреевна.

– Это до меня не касается, кухонных вещей я не принимала, спрашивайте с кухарки.

– Эти все равно! Эти все равно! – заспорила хозяйка, которой, во что бы то ни стало, хотелось заодно наверстать на Маше все свои потери. Но строго-справедливый хозяин остановил ее излишне экономический порыв.

– Так ты не знаешь, где эти вещи? – спросил он бывшую служанку.

– При мне, сколько помнится, все было цело, а что пропало без меня, за то я не могу отвечать.

– Ты должна была сдать по реестру, при удалении в больницу, – возразил Карл Иванович, – ты этого не сделала тогда, а мы, при сдаче новой горничной, не нашли этих вещей. Значит, кто же отвечает за них? Я, что ли? или Луиза Андреевна? или господь бог, наконец? Ты принимала, ты и ответить должна!

Маше становились противны все эти доводы, вся эта казуистика, и потому, лишь бы поскорее избавиться от объяснений, она коротко и презрительно ответила:

– Я не знаю. Вычитайте с меня, делайте что хотите – мне все равно.

– Нельзя ли почтительнее! – строго возвысил голос щекотливо-обидчивый Шиммельпфениг и, с карандашом в руках, принялся за вычет:

– Чайное полотенце – тридцать копеек, блюдечко и стакан – тоже тридцать – по пятиалтынному штука, носки мои – пятьдесят копеек: итого – рубль десять. Да ты помнишь, матушка, в последний день ты прогуляла без позволения с часу до половины осьмого – итого шесть с половиною часов. В месяц тебе приходится четыре рубля, значит, в день около четырнадцати копеек; за шесть с половиною часов я вычитаю с тебя даже несколько менее, чем бы следовало: я вычитаю только пять копеек. Да кроме того в нашей квартире стояли твои собственные вещи, в то время, как ты лежала в больнице. Согласись сама, что даром держать и беречь их у себя, когда ты не служишь нам, мы ведь не обязаны. Твои вещи все-таки стесняли нас: новой горничной некуда было поставить своих – мы должны были отвести им особое место, а этого мы также не обязаны делать. Поэтому за сбережение и за постой твоих вещей мы вычитаем с тебя полтинник – итого, в общей сложности, рубль шестьдесят пять копеек серебром. Остальные два рубля тридцать пять, можешь получить вместе с паспортом, и убирайся себе с богом.

Эта наглая копеечная скарденность, которая с видом полной законности запускает руку в дырявый карман нищего, до того поразила Машу, что несколько времени она ни слова не могла вымолвить и только с чувством презрительного удивления глядела прямо в глаза господам Шиммельпфенигам.

«И это люди! И это христиане, которые так благочестиво ходят каждое воскресенье в свою церковь!» – думалось ей в ту минуту.

– Ну, что ж ты стоишь еще! – возвысил голос Карл Иванович, вручив ей остальные деньги. – Расчет получила сполна, и ступай!

Маша собралась с духом.

– Спасибо вам! – проговорила она со странной улыбкой. – Не знаю, как вы мной, а я вами совершенно довольна. Так это мое жалованье?.. Оно все тут? Ну, хорошо... А остальное уж пусть вам на гроб остается! Пригодится, как умирать станете... Пусть уж это от меня будет на последний час!.. Прощайте!

– Вон, дерзкая! Вон, тварь! В полицию тебя! – вскочили с места оба Шиммельпфениги разом. – Чтоб и духу твоего сейчас же не было в нашем доме! Вон!

Маша улыбнулась в последний раз и неторопливо вышла из комнаты.

Придя в кухню, она не сдержала себя и разразилась слезами.

– Вышвырнуть ее вещи на двор! Чтобы ни минуты здесь не оставались! – шумели в комнатах раздраженные возгласы Шиммельпфенигов.

Надо было уходить из этой квартиры, – но куда же уходить, куда и как тащить за собою вещи, хоть и скудные: всего-то один узел да тюфяк с подушкой, но все же и их не взвалишь себе на спину, не зная куда идти и где приютиться?

Кухарка и новая горничная господ Шиммельпфенигов сжалились над Машей и ее слезами: они предложили ей – потихоньку от хозяев – вынести ее вещи, пока до времени, на чердак господский. Маша и за то была благодарна.

Надо было расплатиться ей с приказчиком из мелочной лавки, где она, живя у Шиммельпфенигов, время от времени забирала себе в долг кой-какие мелочи на разные житейские необходимости. Предстояло отдать ему, ни много ни мало, – всего рубль восемь гривен, и, расквитавшись с этим долгом, Маша вышла на улицу с пятьюдесятью пятью копейками в кармане.

На эти пятьдесят пять копеек ей предстояло кормиться, укрывать от влияний стихий в каком-нибудь углу свое брэнное тело, предстояло, одним словом, жить. А сколько времени жить и долго ли проживешь на эту сумму, и как все это кончится? – темно и одному только богу известно.

Но все же у нее была кой-какая надежда. Она прямо отправилась на Васильевский остров, где жила на месте у полковницы ее бывшая горничная Дуня. К счастью, Маша знала адрес. Дуня не оставит ее, приютит, посоветует что-нибудь, поможет, придумает, приищет какое ни на есть занятие – словом, не вся еще надежда на честную жизнь потеряна для нее и не все же одни Шиммельпфениги обитают на свете!

Поплелась пешком на Васильевский остров. Отыскала дом. Спрашивает у дворника, где тут полковница Иванова живет?

– Полковница Иванова? Да она уже ден восемь как во Псков уехала.

– А девушка, что в горничных у ней жила, Дуня?

– Дуняша-то? А с нею, же, она, значит, и Дуняшку с собой увезла.

– Надолго уехали?

– А Христос их знает! Фатеру, как есть, совсем сдали и уехали.

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» – подумала Маша с какою-то трагически злобной иронией над собою.

Поблагодарила дворника за сообщение и пошла вдоль по панели.

Куда пошла – и сама не знала.

Все равно, куда бы ни идти, везде – одно и то же. Лучше не будет.

На дворе уже вечерело. Целый день с крыш обильная вода лилась. По улицам гнилая оттепель мутную кашницу по жидким лужам наквасила, а с неба какая-то неопределенная скверность сеялась. Но к вечеру стало все больше и больше подмораживать. Гнило, холодно и сыро. Кабы снова в больницу теперь! Жаль, что не дольше длилась болезнь, жаль, что там не издохла – теперь все равно, на улице дохнуть придется. Это хуже, потому тем тюфяк есть и печка топится. И нужно же быть этой молодости, нужно же было, чтобы судьба наделила здоровым организмом! Живуч и вынослив, проклятый! Экая злоба бессильная, бесплодная закипается в груди! Что это за злоба? на кого она? на себя, на людей, на судьбу, на жизнь, на весь мир божий? Бог весть, на кого – это все равно: ни людям, ни жизни, ни судьбе нет до нее никакого дела. Они – сами по себе, ты – сама по себе. Чего ж тебе еще надо?

Но злоба эта вспыхнула на одно только мгновение и затихла, затерялась как-то: Маша неспособна была злиться. Ее бессознательно злобная вспышка тотчас же и исчезла, без следа, без результата, потому что Маша была слишком доброе и кроткое существо, способное только терпеть и страдать почти одним лишь пассивным страданием. Минутная злоба вспыхнула в ней не настолько, насколько могла она вспыхнуть в этом слабом, кротком и терпящем существе. Она сама себе не дала в ней отчета, не знала, как эта злоба пришла к ней и как отлетела, а на место того чувства появилась удручающая, тихая скорбь – скорбь без просвета, без исхода и без малейшей надежды.

Идет Маша по длинному-длинному проспекту. У колод извозчики с саешником балагурят, градской страж благодушествует. По прутьям деревьев в бесконечно тянущихся палисадниках ветер бесплатный концерт в пользу бедных задает; впрочем, проезжающие кареты, громыхая по камням с ухаба на ухаб, заглушают порой своим самодовольным дребезгом певучие ноты и рулады этого сердобольного ветра: «Ты вот, мол, братец, вой себе сколько хочешь, а нам плевать! За нашими стеклами тепло и удобно: ты – стихия несмысленная, а мы изящное произведение комфорта, искусства и цивилизации, и, стало быть, между нами нет ничего общего, и, стало быть, мы и слушать твоих концертов не желаем!» – Так громыхают кареты, а ветер знай себе напевает свою песню да качает в такт головы деревьев: «Слушайте, мол, меня и наслаждайтесь! Я, мол, теперь потешаю вас, как потешал было ваших отцов, и дедов, и прадедов! Слушайте и наслаждайтесь!»

Маша идет и старается крепче закутаться в свой платок, и запахивает полы бурнусишка, потому в самом деле очень уж неприятно пронизывает холодная сырость.

А навстречу ей парадные похороны тянутся – богатого покойника везут. Впереди едут жандармы; нанятые люди в траурных костюмах несут размалеванные гербы и в фонарях свечи возженные; чиновники какого-то ведомства на малиновых бархатных подушках различные регалии напоказ выставляют и с примерно похвальным самоотвержением месят ногами жидкую кашлицу посередине улицы – собственно только ради этого обстоятельства: а за ними, на высоких дрогах, под пышным балдахинном, сам покойник изволит следовать; за покойником – длинный-предлинный ряд карет и экипажей. Зрелище величественно-трогательное и умиляющее душу.

«Ведь вот, умирают же люди, умирают же! – думает Маша, провожая глазами колесницу. – Зачем же ты, а не я! Зачем, зачем не я?! Ты, может, жить хотел и умер, а я и хотела бы умереть, да живу!.. Вот и все-то этак на свете!..»

И Маша отчаянно-тоскливыми глазами провожает этот кортеж и идет себе дальше, дальше... Через Николаевский мост перешла и мимо Пушкинских бань идет... К баням три кареты подъехали; у кучеров на шапках спереди красный розан торчит, а у лошадей в гривы малиновые банты вплетены – это, значит, купеческую невесту привезли в баню париться. Пьяно-красная толстуха-сваха пространно расселась квашнею в первой карете и, хлопая перед носом невесты в свои жирные ладоши, визгливо-сиплым голосом величанья какое-то голосит, а из окон двух остальных карет невестины подруги выглядывают.

Экие глупые контрасты, словно перегородки, ставит жизнь на каждом шагу прохожему человеку! Когда ты весел и доволен жизнью, ты проходишь мимо, даже не замечая их, но когда тебя, как муху на лету, сожмет лапа жизни, каждое такое случайное явление начинает получать в твоих глазах какой-то особенный смысл и как будто роковое значение.

Маше почему-то еще кручиннее сделалось, и все на свете стало ей так темно и холодно в эту минуту, что она с невольным ужасом закрыла глаза, стараясь ничего не видеть, не слышать, и зашагала дальше.

– Господи! да неужто же нет мне честного исхода! – с ужасом воскликнула она после долгих дум и размышлений и в отчаянии заломала свои беспомощные руки.

Вот когда только почувствовала она себя вполне одинокой. Она одна – совершенно одна, среди сотен тысяч людей громадного города, и, быть может, ни один человек из этой массы даже и не догадывается про ее положение, и ни одному из них нет до нее никакого дела.

VII ГОЛОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Среди этой массы людей, в центре этого же самого города, был и еще один человек, который чувствовал себя таким же одиноким, бессильным и беспомощным.

Это был человек голодный.

Он был голоден уже вторые сутки.

Вчера его выпустили из тюрьмы. Вчера он не успел поесть, потому что его слишком рано – за два часа до тюремного обеда – вытребовали к следственному приставу, отпустившему его на поруки. Вчера ему от радости и есть не хотелось: он не подумал, он и совсем забыл о пище, потому что всем существом своим отдался одному великому, всепоглощающему, всезабывающему и всепрощающему чувству человеческой свободы. Вчера он радовался и горячо любил всех, и даже самой тюрьме простил все вытерпенные в ней свои невзгоды, все то зло и кручину, которые она ежедневно приносила ему в течение более чем целого месяца. Он благословлял свою волю, пока не почувствовал усталости и голода. Усталость и голод заставили его тотчас же ощутить свое полное одиночество, бессилие, бесприютность. Мы оставили его перед окнами блестящего бакалейного магазина, когда голод сжимал его скулы и судорожно поводил мускулы щек. Но тут он вспомнил, что не вся еще надежда пропала: он вспомнил про того самого товарища своего по рисовальной школе, у которого, месяца два назад, взял на подержание альбом фотографий, в тот же день заложенный Морденке вместе с жилеткою Гречки и столь неожиданно послуживший одною из улик в небывалом покушении на отцовскую жизнь.

Вересов надеялся, по-старому, найти у этого товарища временный приют и скудный кусок хлеба. Но квартирная хозяйка встретила его недовольною рожею и объявила, что она таких шеромыжников, которые за квартиру не платят, держать у себя не намерена, и потому давно уже согнала этого товарища, а куда переехал он – про то неизвестно – справьтесь, мол, у дворника. Но дворник, словно на беду, оказался пьян, и на все расспросы Вересова только глазами похлопывал, отбояриваясь тем, что мы-де не знаем, да мы-де не помним, да какой-такой это жилец был, да тут-де мало ли жильцов-то с тех пор перебивало; дом не маленький – про всех не упомнишь, а домовые книги и управляющего в конторе заперты, а сам управляющий на Сергиевской живет, и сюда только временем на два, на три часа в день заезжает.

Так и не добился Вересов никакого толку. Плюнул с досадою и, озлобленный, пошел прочь от громадного дома.

«Что же ты, друг сердечный, будешь делать теперь?» – задал он самому себе трудно разрешимый вопрос – и не дал никакого ответа.

Целую ночь прошатался он по улицам, и во все это время часа на три только присел на одной из гранитных скамеек, выдающихся полукругом в Неву, которые попадаютя вдоль Гагаринской, Дворцовой и Английской набережных.

Он не знал, что делать с собою, не подумал даже, на что ему следует теперь решиться – он, словно самую жизнь, дорожил одним только чувством – своею свободой. Хотя минутно и пожалел, голодный, о тюремных шах-серяках, о тюремной жесткой койке, но эта вспышка горького сожаления была одним лишь минутным следствием отчаяния. Голодному человеку все-таки в высшей степени дорога была его свобода.

Прошла тяжелая ночь, прошли утро и полдень – и снова наступил холодный вечер.

И вот опять, как вчера, стоит он на ветру, перед окнами роскошного бакалейного магазина, жадно любуясь на заморские и отечественные вкусности, а голод еще пуше сжимает его скулы и судорожно поводит личные мускулы. Аппетит у Вересова действительно мог назваться волчьим, который природа как будто нарочно посылает человеку тогда именно, когда нет ни средств, ни даже надежды утолить его.

«Украсть бы, что ли, – думал Вересов, заглядывая сквозь зеркальное стекло во внутрь магазина. – Ведь стоит только взойти туда и спросить чего-нибудь... А пока они станут отрезать да отвешивать – тут и украсть... Или нет, лучше подождать, когда народу там больше наберется – покупателей этих: тут приказчики в суете будут...»

«Экая гадость лезет в голову! – сплюнул Вересов густую, голодную слюну. – Что это я, однако!.. Мысли-то какие подлые... Украсть!.. А что же станешь делать – не околевать же с голоду!»

«Нет, лучше попытаться другое! – решил он через минуту, – да что ж другое-то? Христа ради просить, что ли?.. Одно только это и осталось!..»

Подумал-подумал, переминаясь с ноги на ногу, в крайней нерешительности и – хочешь не хочешь – пришел к последнему заключению, что если не воровать, то действительно одно только и остается – милостыню просить, и к первому же прохожему робко протянул за подаванием свою зазябшую руку.

Закутанный в шубу прохожий даже и не взглянул на просящего.

Тот быстро отдернул протянутую ладонь и вспыхнул от стыда за самую мысль просить милостыню и от негодования на свою неудачу, на это холодное невнимание прохожего в шубе.

– Сыт, каналья! Леня распахнуться на ходу да руку в карман опустить! – с ненавистью проворчал он, скрипя голодными зубами, и медленно отошел шагов десять в сторону.

Но неугомонный желудок сжимался и настойчиво предъявлял свои требования. Под влиянием этого физиологического позыва Вересов опять решился протянуть свою руку.

«Ну, это неудача, это один какой-нибудь попался! – утешал он себя мысленно. – Первый не в счет. Не все же такие, не может быть, чтобы и все такие были, ведь подаст же хоть кто-нибудь, ведь есть же человеческая душа, ведь был же и сам кто-нибудь из них голоден».

Прошел второй – и ничего, третий – и ничего, четвертый, пятый, шестой – и все-таки ничего!

Вересов готов был зарыдать от злости и голода.

Идет какая-то старушенция в капоре.

– Христа ради!.. – простонал голодный, протянув к ней руку.

Старушенция сперва как будто испугалась и отскочила в сторону, увидев перед собой внезапно подошедшего и обратившегося к ней человека, но потом торопливо порылась в кармане и еще торопливее подала ему денежку.

Вересов с горькой, иронической усмешкой поглядел на свою развернутую ладонь и на медную монетку.

«Денежка... – подумал он, – денежка... даже менее гроша... На это в самой жалкой лавчонке даже ржаного кусочка не отрежут».

«А может, еще кто-нибудь подаст денежку – вот и грош будет», – продолжал он думать, с надеждой на кусок хлеба, и снова начал просить подавания.

И снова прошел прохожий – и ничего; прошел другой, третий, целый десяток прошел, двадцать, тридцать – и хоть бы взглянул-то кто-нибудь: все мимо и мимо.

«Нет, украсть лучше!.. Украсть вернее будет!» – решил он наконец и опять подошел к окну бакалейного магазина. Сквозь стекло видно – стоят три-четыре покупателя.

«Вас-то мне только и нужно!.. Теперь самое время!» – и он смело переступил порог магазина.

Приличные ярославские бородки, в чистых полотняных фартуках, суетились около покупателей и, по-видимому, все были заняты. Вересов стоял в недоумении, не зная как и к кому обратиться, и что спросить. Он почувствовал величайшее смущение, а глаза между тем разбегались на тысячу предметов, но как нарочно попадались все неподходящие вещи: банки с какими-то соями, сиропы, консервы с фруктами, а он искал какой-нибудь колбасы или сыру.

«Где же они, где же? Ведь, кажись, тут им где-нибудь надо быть! – думал он, растерянный и смущенный, тщетно перебегая глазами от одного предмета к другому. – И как это я давеча проглядел!.. Надо было раньше хорошенько высмотреть место! О, проклятые!»

– Вам что надо? – громко и без особенной церемонии подошел к нему приказчик, подозрительно оглядывая его жалкую фигуру и плохое пальтишко.

– Мне... мне...

Вересов чувствовал, что голос у него застрял как-то в горле, сдавленный мокротой и сухостью во рту, так что трудно было издавать звуки и выговаривать слова.

– Мне... фунт сыру отрежьте, – проговорил он наконец.

– Голландского, али швейцарского?

– Швейцарского, пожалуй.

– Сейчас будет готово.

И приказчик побежал в другое отделение за сыром.

«О, черт возьми! Я не туда попал!.. Надо было в то отделение пройти!» – с досадой подумал Вересов, и вдруг – золотая надежда! – он увидел в двух шагах от себя кольцо колбасы, тщательно завернутой в тончайший лист серебрившейся фольги.

«Ее... ее-то и тащить! – мелькнуло в его голове. – Скорее тащить, пока не замечают!»

Он пытливо и тревожно посмотрел во все стороны, быстро обернулся на приказчиков и покупателей: «Хорошо!.. Не видят!» – и робко протянул к заветному куску свою дрожащую руку.

Но... страшное дело!.. Кровь прихлынула к голове, и в глазах замутило. «Вор!» – с презрительным укором и даже насмешливо шепнул ему какой-то внутренний, тайный голос, и он торопливо отдернул свою руку.

А голод не дремлет. Напротив, при виде колбасы еще сильнее разыгрывается.

«Да, вор! Голодный вор! – поперечил он в ответ этому насмешливому и укоряющему голосу. – Что же это я? Чего я испугался? Минута – и все кончено! Упустил минуту – и пропало... Скорей, скорей!..»

И снова рука протянута к колбасе, а глаза, не глядя на нее, следят за малейшим движением остальных людей, находящихся в лавке. Вот уже пальцы до нее коснулись, а сердце стучает и колотится и во рту что-то горькое, липкое... Проклятая рука! дрожит, трясется!.. Чувствуешь его концами пальцев, а поймать не можешь, словно бы этот кусок зачарован, словно бы он ускользает из-под руки. Что за дьявольщина!.. А!.. Наконец-то!.. Вот он!.. Вот он уже в руке!.. Скорей его прятать! Скорее! Да где же это карман?!

«Где же он, в самом деле? Затерялся или черт шутит надо мною?!» – думает Вересов, шаря у себя по пальтишку и от волнения да от дрожи никак не успевая нащупать карман свой. Вот, кажись, как будто и чувствуешь его, а рука не попадает: не может, положительно не может попасть в него.

Тяжела бывает человеку первая кража!

А между тем показывается приказчик с куском сыру на листе бумаги.

«Попался! – с отчаянием думает голодный. Всему конец! Попался!.. Скрутят руки... полиция... тюрьма... Вор... мазурик... А срам-то, позор-то какой!.. Господи!..»

Приказчик подошел к нему в эту самую минуту – и колбаса, как была, так и осталась в руке.

– Что, вам, может, эту колбасу желательно? – с ухмылкой обращается он к Вересову, еще подозрительней прежнего оглядывая его наружность.

«А!.. Есть спасение!» – мелькнуло в сознании неудачного вора, который за миг перед этим почти был готов лишиться чувств или во всем признаться.

– Да... я хотел бы... – пробормотал он в смущении... – А что цена ей?

– Цена рупь двадцать пять копеек, – равнодушно отвечал приказчик, не спуская с него глаз.

– Ох, нет, это больно дорого! – еще смущеннее пробормотал Вересов и положил колбасу на прежнее место. Он был необыкновенно рад в эту минуту, что наконец-то успел положить ее – рад потому, что нравственное чувство, шептавшее ему «вор!», хоть немножко успокоилось, затихло.

– Н-да-с, этга точно, что дорого – всякой вещи своя цена-с! – усмехнулся ярославец. – А вот-с за фунтик сыру прикажите получить сорок пять кипеечек серебрицом-с!

Вересова, как обухом, по лбу ошарашило. Он забыл и не сообразил, что ему предстоит еще это милое положение. Окончательно растерявшись, стоял он перед приказчиком и бессмысленно хлопал на него глазами. Тот повторил свое требование: «Сорок пять-с кипеек!»

Вересов вздрогнул и как бы очнулся.

– Деньги... Ах, да! деньги! – пробормотал он и полез шарить по своим карманам. – Деньги... сейчас-сейчас!.. сорок пять, вы говорите?.. Сию минуту-с... Ах, боже мой, да где же это они?! Что же это значит?..

Он перекалывал руку из одного кармана в другой, а из этого в прежний – перекалывал, шарил и бормотал себе под нос, и с каждым мигом, с каждым словом смущение его все росло и росло, потому что ярославец, словно бы грозный призрак, неотступно стоял перед ним с куском сыру и неотводно следил за малейшим его движением, с самой ехидной, насмешливой улыбкой. Остальные приказчики и несколько покупателей тоже обратили на них свое внимание и с праздным любопытством наблюдали за этой интересной сценой. Вересов не видел, но чувствовал на себе их взоры.

– У вас кармашки-то, видно, с дырой – с изъянцем? – заметил ярославец, не скрывая самой наглой, самой обидной иронии.

– А?.. Что вы говорите?.. С дырой?.. Нет, но представьте себе!.. Что же это значит?.. Вот положение-то!.. Ах, батюшки! – бормотал Вересов, не зная, куда деваться от стыда и не смея глаз поднять. – Ну, так и есть, – верно, дома... Извините, пожалуйста...

– То-то, что дома!.. А еще колбасу торгуешь... Ах, ты, мазура-мазура оголтелая! Стащить хотел! В полицию бы тебя, каналью!.. Проваливай-ка вон! Проваливай! Много вас тут таких-то шатается! Взашей вашего брата!

И он, без церемонии, толкая в шею и в плечи, перевернул его раза два и вышвырнул за дверь магазина.

Снова очутился Вересов на улице. Минут пять он не мог опомниться и прийти в себя. Жгучее чувство стыда, сознание позора, перенесенного при посторонних людях, сознание людского бессердечия, досада и злость, и голодная тоска – все это наплыло на него разом и душило, душило под собою.

«Оскорбили, надругались и вытолкали в шею – за что? За то, что думал украсть? Да разве я украл? Нет, за то, что я голоден, за то, что мне жрать нечего, а они сыты... за то, что я хотел украсть без права, а они обкрадывают с правом... Честная торговля... по праву сытого... По праву подлости... О, подлость – это великое право! Самое сильное право!.. Нет сильнее его!» – думал Вересов, словно пьяный, шагая по улице, с сжатыми кулаками и скулами.

Но как ни горько и больно было у него на душе, а голод пересиливал всякое нравственное чувство. Видит он, на углу саечник стоит, и около его лотка два извозчика печеными яйцами лакомятся.

С великою завистью и даже ненавистью как-то оглядывал их Вересов и в раздумьи остановился неподалеку. Он нацеливался – нельзя ли как-нибудь стащить с лотка сайку. «Уж теперь-то я буду смелее! Не таким дураком, как сейчас...» – думает он, и косит на лоток: то поближе к нему подойдет, то остановится – но нет!.. Все еще не выпадает ему удобная минута!

– Поглядь-ко, паря, что это малый все тутотки вертится, часом, гляди, може и стащить что горазд, – заметил саечнику один из извозчиков, указывая пальцем на Вересова, подходцы и взгляды которого действительно заключали в себе нечто подозрительное.

– Намеднись, вечером, у меня тоже девчонка одна – махонькая совсем – калач было стащила, – отозвался саечник, – только отвернулся, а она и стащила, тоже вот так-то все вокруг да около шнырила. Ну, вот этга, стащила и бежать! Я за ней! Нагнал да сгребал под себя, и ну – колушматить: «Знай, мол, напредки, как чужое добро воровать! Воруй, мол, свое, коли охота есть!» Ну, и наклал же я ей по загривку! Так что ж бы ты думал, паря? – Сама кричит, а сама калач шамкает, так изо рту и не выпускает его! Беда, какой ноне народ мазурик стал! А ведь махонькая – от земли, почитай, не видно.

Вересов, который стоял не более как в трех-четыре шагах, слышал весь разговор этот.

«Эх, брат, Иван Осипыч, плохо тебе приходится! – покачал он головой с какою-то грустной иронией над самим собою. – Вот и дождался! Еще и украсть не успел, а уж люди добрые за мазурика считают!.. Голодного-то – за мазурика!.. А все потому – зачем голоден! Не надо голодным быть – нехорошо!.. За мазурика!.. Видно, и в самом деле, что голодный, что вор – одна собака. Вор – стало быть, человек голодный...»

В эту минуту размышления его были прерваны вечерним звоном колоколов. Назавтра люди праздника какого-то ждут, поэтому сегодня по церквам всеобщие служат.

– А!.. Вот она в чем штука! – воскликнул Вересов, озаренный новою мыслью, и направился к церкви. Он стал на паперти, где уже находились два ряда привилегированных нищих, придверных завсегдатаев этого храма.

– Подвинься, бабушка, – просительски обратился он к одной старушонке, стоявшей между другими, недалеко от входа.

– Куды те двигаться, батюшко? Это мое место, я на своем месте стою, – возразила старушонка с сознанием всей законности собственного права.

Вересов не стал распространяться и поместился подле нее, у колонны. Для этого он должен был потеснить несколько двух соседок.

Старушонки сильно возроптали.

– Штой-то, матушки мои! – затараторили они. – Мало места в церкви, что ли? Проходи в церковь, батюшко! Здесь те негоже стоять – здесь ведь нищенские стойла!

– Мне и здесь хорошо! – возразил Вересов. – Ведь я тебя не трогаю – так чего же тебе? Все равно, где ни стать!

Старушонки долго еще поваркивали себе под нос, но пока, до времени, не подымали новых протестов против пришлеца.

Из церкви между тем вышли две женщины и стали оделять кой-кого из нищей братии.

«Может, еще полушка будет... а может, копейка!» – ободрился Вересов и, вместе с другими, протянул свою руку, в которую, однако, ничего не попало. Зато, едва сердобольные прихожанки сошли с паперти, как на него накиннулись и старушонки, и старичье, и весь почти кагал придверных завсегдатаев.

– Да ты милостыню просить? Да ты звонить тоже вздумал? Да ты кто такой? Да откудава народился? Платил ты за свое место? Платил ты, что ли, что лапу-то протягиваешь? Кто тебя ставил сюда? Кому ты платил за стойло?

– Как, кому, зачем платить? Чего вы прете на меня? – огрызнулся Вересов, отпихиваясь от наступавших калек и старушонок.

– Э, брат! Это не панель: здесь места заручоные, здесь, брат, каждое стойло оплачено!.. Да чего тут толковать?! В шею его! в шею!.. Балбень экой – парень, а туды же звонить пришел! Староста, да ты чего же ждешь? Своего забижать позволяешь? Тури его, тури с паперти!

И местный нищенский староста, повинуясь голосу артели, тычком спустил Вересова с гранитных ступеней.

– Господи! И на милостыню откуп!.. И на милосердие продажа! – воскликнул он с горечью и отчаянием. – Да и чего ж тебе ждать?.. Как будто ты не знал этого! – И он вспомнил, что сидючи в тюрьме, слышал от арестанта, будто в некоторых церквях причт и прислуга отдают нищим на откуп и как бы с торгов все места на паперти, причем стойло, ближайшее к двери, ценится дороже, а дальнейшее – дешевле, и будто цена за лучшее доходит даже до полутора ста рублей в год. Но, во всяком случае, это воспоминание было для него теперь вполне бесплодно, и разве только подбавило желчи к его отчаянному положению. Голод становился все сильнее и сильнее.

«Господи! Зачем я вышел из тюрьмы! К чему было рваться-то на эту волю проклятую! Что мне в ней! Зачем она мне? Чтоб околеть с голоду да холоду! Воля хороша сытому, а голодному воля – смерть!»

И ему уже вспало на мысль – кинуться на первого встречного, избить его, изгрызть зубами, исцарапать когтями – в кровь, изуродовать, чтобы сорвать на ком-нибудь свое зло, но – главное – чтобы его за это схватили и отвели в тюрьму.

«В тюрьму... Нет, брат, в тюрьму не отведут, а вот в часть, – ну, это точно, в часть-то посадят, в сибирку швырнут, и есть... есть-то все-таки не дадут до завтрашнего дня!.. До полудня все-таки ни крохи во рту не будет... И никто не даст!.. Никто!»

Вот идет прохожий какой-то.

«Кинуться на него, что ли? Ограбить – тогда и тюрьма будет! Тюрьма... сидеть в тюрьме?.. Нет! Это скверная штука!»

И Вересов остановился в ту самую минуту, как уж готовился было диким зверем броситься на человека.

Как там ни рассуждай, а в тюрьме – даже для голодной парии есть что-то скверное, смрадное, удушающее, словом, есть все эти свойства и атрибуты неволи. Оно только на вид, и то лишь в минуту ропота и озлобления, может показаться, будто и ничего, будто тюрьма лучше воли, но, видно, уж так человек устроен, что нет того каторжника, который не предпочел бы душному острогу всех ужасов голодной, да зато вольной смерти в бурятской степи, да в лесах бугров Яблоновых.

И Вересов почти инстинктивно остановился в своем намерении перед мыслью о новой неволе, перед повторением всего того, что уже было изведено им в Тюремном замке.

«Можно украсть и не попасться, и много раз не попасться – ведь не все же попадаются, – думал он, продолжая шагать по тротуару. – А уж если суждено околеть – так лучше же околеть, где сам захочешь и как захочешь!»

И он идет, а сам как-то взглядливо всматривается во все стороны тротуара, словно бы ищет чего, и не находит.

Действительно, Вересов искал.

Он искал и думал нелепые думы и строил нелепые надежды:

«Ведь вот, может, судьба пошлет на мою долю! Чем по сторонам глазеть – лучше гляди себе под ноги. Вдруг я найду что-нибудь!.. Хоть гривенник какой-нибудь, хоть пятак!.. Ведь случается, что и находят же люди! На пятак ведь отпустят из лавочки хлеба – два фунта отпустят – два фунта!.. Глазел бы по сторонам – и может быть, прошел бы мимо, а теперь... может, найдется что-нибудь. А что если... Господи!.. что, если я вдруг целый бумажник найду! Что, если я вдруг тысячу, три тысячи, десять тысяч найду?!. Ведь возможно! Ведь бывают же и такие случаи!.. Надо только искать, искать! Повнимательнее, позорче!»

И Вересов ищет. Вересов пристально, во все концы, разглядывает плиты тротуара и окраины мостовой, но... ничего не находит. Вот виднеется стоптанная бумажка – он со стремительной жадностью кидается на нее, как кот на добычу, кидается с ужасной боязнью, чтобы кто-нибудь другой одним мгновением не предупредил его, не выхватил бы из-под руки. О, если бы выхватил, он тут же, может быть, задушил бы его!

И вот бумажка уже в его руке. Дрожащими пальцами разворачивает он ее самым тщательным, самым осторожным образом, вглядывается при свете фонаря. «Может быть, ассигнация, может быть, рублевая или синяя... или красная?» – екает и шепчет ему сердце. Нет! Это просто грязная бумажка! И Вересов с остервенением швыряет ее в сторону и нарочно еще пуще затаптывает в грязь своим каблуком – словно бы эта бумажка лично виновата в его разочаровании, словно бы не сам он создал себе свою мечтательную надежду, а она, именно она подстроила нарочно всю эту насмешливую скверную штуку.

«Туда же! Денег, глупец, захотел! – бормотал он сквозь зубы, судорожно сжатые от голода и злости. – Как будто они нарочно для тебя так и валяются по улицам!.. Как будто у тебя нет денег! Ведь есть! Есть! Есть! Вот, целая денежка! Христианская добродетель дала тебе ее... милосердие подало... шутка ли сказать: денежка... денежка!»

И он еще остервененней прежнего и с отвращением далеко отшвырнул от себя медную монетку, словно бы не она, а какая-нибудь скользкая, холодная гадина нечаянно попала ему в руку.

Швырнул, и пошел далее.

Но черт знает, как есть хочется!

Все те ощущения, которые пережил он в течение этих двух дней, в общей сумме своей слились в одно какое-то озлобленно-тягостное чувство, и это чувство еще усиливалось суровым голодом. Оно подымало в груди рыдания – и Вересов не сдержался: от голоду стал он плакать; но это были не женственные и не ребячьи слезы – это был какой-то невыносимо надсаживающий душу, тихий, сдержанный и в то же время отчаянный вой голодного пса. Именно вой – другого названия нет этому глухому, хриплому звуку. Он шел, шатающийся от сильной усталости, а слезы ручьем текли по щекам, и из глотки вырывались эти сиплые, собачьи вопли.

Прохожие оглядывались на него и принимали за пьяного.

Но он шел, ни на кого и ни на что не обращая внимания, не видя, не слыша, не чувствуя ничего – кроме тяжести в груди, мало-помалу разрешавшейся рыданиями, кроме лихорадочного озноба и до тошноты мутящего голода.

Когда эти слезы облегчили его несколько, он опомнился и огляделся; оглядевшись же, увидел, что стоит на гранитной набережной Фонтанки, близ Обуховского проспекта, что ведет к ней от Сенной площади. Тут только почувствовал он сильную усталость: от продолжительной ходьбы разломило поясницу и размаяло ноги, так что показалось ему, будто дальше он уже не в состоянии двигаться. Пока его злора и отчаяние не разрешились слезами, они придавали ему какие-то напряженные силы, они помогали не замечать этой тяжелой усталости, но вылились накопившие слезы, облегчилась грудь, утолилась на время злора – и Вересов вдруг ослабел, изнемог, и ему сильно-сильно захотелось спать – где бы то ни было и как ни попало, но лишь бы прилечь и успокоиться. Голодный сон так и морил его.

«Где же я опять ночь проведу, однако?.. Ведь никуда не пустят!..» – предстала перед ним беспокойная, ужасающая мысль, и он с тоскою стал озираться по сторонам – но нигде нет угла, чтобы хоть как-нибудь приютиться: все открыто, все на свету, на юру, на проходе.

Нечего делать, еле передвигая ноги, пришлось идти далее, вдоль по набережной.

А! Вот наконец спасенье!

VIII НОЧЛЕЖНИКИ В ПУСТОЙ БАРКЕ

Гранитными ступеньками ведет к реке обледенелый спуск. Почти у самого этого спуска зазимовала пустая, брошенная и полуразвалившаяся барка. С носу она была почти уже разобрана, так что из-под льда торчали вверх одни только ребра, а обшивочные доски кто-то поотдирали уже на своз, к дровяному двору: там из них приготовят убогое топливо, на скудную потребу петербургского «черного» люда.

Но корма этой барки была еще совершенно цела, и каюта под нею сохранилась в полной неприкосновенности. Спасибо судьбе! – она посылает какой ни на есть приют, где можно, по крайней мере, если не от морозу, то хоть от ветру несколько укрыться; да все же за четыремья дощатыми стенами и мороз не так-то донимать будет.

Вересов осторожно сошел по скользким ступеням и очутился внутри покинутой барки.

Маленькая дверца, ведущая в каюту, полуоткрыта и слегка поскрипывает от ветру. Он робко взялся за нее рукою и ступил за порог барочной конурки.

Но едва успел сделать шаг, как изнутри раздалось сердитое рычанье.

Испуганный Вересов отшатнулся назад и осторожно стал прислушиваться: рычанье замолкло, но через минуту послышался тихий и жалобный щенячий визг.

«Это собака оценилась... такая же бездомная, как и я», – подумал он и, успокоенный, снова переступил порог каюты.

Рычанье в темноте раздалось еще сердитее, но он не смутился и остался на месте.

«Нет, уж теперь-то не выйду! – твердо решил он сам с собою. – Коли тебе есть место, так и мне будет!»

Собака не унималась.

– Цыц, проклятая!.. Цыц! – зарычал на нее Вересов, топнув ногою – и собака стихла, не то бы от страха, не то бы от собачьего недоумения.

Бездомный ощупью пробрался в противоположный угол, чтобы не обеспокоить оценившейся суки, и сел в углу.

По усталому лицу его тихо прошла улыбка наслаждения: слава тебе, господи! наконец-то присесть удалось, после стольких часов ходьбы и утомления! Он чувствовал, что по одеревенелым членам разливается тихое ощущение спокойствия. Глаза невольно смыкаются, долит дремота, но сквозь ее тонкий туман слышит он в противоположном углу шорох, сопровождаемый щенячьим визгом. Сука поднялась со своего места и, осторожно подойдя к затихшему соседу, пылливо стала обнюхивать его.

«Что, если ее приласкать? – подумал он. – Может, добрее станет? Авось, тогда можно будет подле нее улечься – рядом – все же теплее будет».

И он, зацмокав губами, как обыкновенно это делается, когда хотят приманить собаку, ласково стал гладить рукою ее кудластую голову. Инстинкт ли подсказал животному, что подле него находится не злое существо, или другая тому была причина, только собака не изъявила более неудовольствия и беспрепятственно позволила гладить свою голову. Снова послышался слабый визг щенят, и сука поспешно удалилась к своим детенышам. Вересов, осторожно ощупывая перед собою барочную настилку, пополз вслед за нею: он хотел улечься рядом. И вдруг рука его набрела на старую, брошенную рогожу. Это была находка, которая его очень обрадовала. Уж он совсем было подползал к логовищу собаки, но та выказала самое решительное намерение сопротивляться. Она встретила его злым и грозным рычаньем, не подпуская к своим щенятам, так что Вересову поневоле пришлось вернуться и лечь на прежнее место. Он покрылся найденной рогожей, только лег не совсем-то ловко, потому – под бок что-то жесткое кололо. Ощупавши, Вересов убедился, что это была обглоданная кость.

«Попытать бы, не осталось ли на ней чего-нибудь? – пришла ему в голову мысль, вызванная голодом, но вслед за ней взяло верх чувство брезгливого отвращения: „Фу, гадость! Глотать собачью кость!“ Но голод был слишком силен и с каждым часом становился все больше. Для человека сытого, здорового и в тепле живущего, да обладающего кой-каким запасом крови и жиру, пожалуй, что и немногого стоит перетерпеть двухсуточный голод: особенного ущерба здоровью в этом случае может и не оказаться. Но совсем другое дело человек хилый, худосочный, каким всегда был Вересов, человек, просидевший месяц в тюрьме, на скудной, не питательной арестантской похлебке, человек, наконец, со вчерашнего утра промаявшийся, ходючи без цели по городу, на сыром ветру да на вечернем морозе, усталый, измученный и не имевший во рту ни единой крошки. Тут уж нет ничего мудреного, если такому голодному человеку, при окончательной невозможности хоть чем-нибудь насытить себя, придет вдруг в голову странная мысль позаимствоваться у собаки ее обглоданной костью.

Вересов понюхал свою находку: сырым мясом пахнет: верно, как-нибудь, собака ее на Сенной с мясного ларя стащила и унесла в свое логовище, в то время, как торговка затараторила с соседками. По Сенной – известно дело – шнырит очень много голодных собак, охотящихся таким способом.

«Попробовать или нет? – колебался Вересов между волчьим голодом и человеческим чувством брезгливости. Эта мысль, возбуждаемая сильным аппетитом, на время даже дремоту его совсем разогнала. „А почему же нет? – мыслил он далее. – Чем я теперь лучше собаки? Какая разница между этою сукою и мною? Ей даже, может быть, лучше моего, потому что она верно меньше меня голодна... Такая же бесприютница, как и я – свела же вот судьба вместе!.. А может быть, и ее когда-нибудь у конуры на цепи держали, может, и щец хозяйских давали каждое утро... А потом спустили почему-либо с цепи и со двора согнали... Вот и мается собака, и бродит себе... А может быть, и с самого дня рождения бродит по улицам бесприютницей, пока фурманщики не пришибут. И то может быть. Так какая же разница между мной и ею? Чем я лучше?.. Почему мне не стать глотать ее кости? С голоду и человечину жрут!.. О, черт возьми! Тут нечего думать, когда голод давит! Авось, как поглотишь, так меньше донимать станет“.

И он, преодолевая последний, уже слабый остаток отвращения, вгрызся в нее зубами. Но едва лишь почувляли эти голодные зубы ничтожный намек животной пищи, как настала для них самая жадная и яростная работа. Брезгливость и отвращение тут уже сразу исчезли.

С остервенением грыз и глодал он эту кость, скоблил ее зубами, стараясь высосать из нее хоть какие-нибудь питательные частицы; раза два замерзлый и твердый хрящ на зубах его хрустнул – и Вересов поторопился проглотить его с величайшею жадностью; но вслед за тем все остальные усилия его выгрызть и высосать что-либо еще из этой кости остались вполне безуспешны. Собака на этот счет уже давно предупредила его.

С отчаянием и глухою злобою застонал он, сильно швырнувши в угол собачий огрызок. Десны его ныли и свербели и были в кровь изодраны от этих тщетных усилий.

Но едва успел попасть в желудок кусок замерзлого хряща, как голод вдруг начал мучить с невыносимой, ужасающей силой. До этой минуты еще кое-как можно было терпеть его; теперь же мученья мгновенно превзошли всякую меру. Окровавленные и надсаженные десны сжимались, зубы скрипели и ожесточенно требовали своей естественной работы, густая и как будто горьковатая слюна сочилась во рту. И Вересов в забытьи, ухватив в зубы край рогожки, которою был покрыт, вырывал из нее мочалки, сосал их, грыз и пережевывал, но проглотить не мог: они жестко и сухо останавливались в горле и дальше не шли, а только кололи и щекотали там. С усилием откашлянул Вересов пережеванный комочек мочалки и выбежал, как одурелый, из своей каюты. Он бросился в снег и жадно стал глотать его, горсть за горстью. Он отламывал от барочных ребер только что настывшие ледяные сосульки – и они быстро хрустели в его голодных зубах. Снег и лед обманчиво утолили несколько его голод – по крайней мере он был не до такой уж страшной степени невыносим и болезнен: работа желудку, хоть какая ни на есть

все-таки задана. Вересов с трудом вернулся в каюту, изнеможенный повалился на свое место и сразу заснул тяжелым, крепким, почти до обморока бесчувственным сном. Да это и в самом деле скорее был обморок, нежели усыпление.

Положение Маши почти совершенно походило на положение Вересова. Один был выпущен из тюрьмы, другая – из больницы. Оба вполне бесприютны, беспомощны и беззащитны. Оба скитались бог весть где и как, бог весть по каким улицам, без цели и назначения, потому что надо идти, потому что негде – решительно негде отдохнуть и успокоиться. Только один сначала встретил свою вольную волю широкой, светлой и радостной улыбкой, полный счастья и братской любви ко всему миру, с которым жаждал поделиться этим счастьем и этой волей, пока не одолели усталость да голод; другая же, после больницы, вышла на свет с горьким раздумьем, а потом скиталась с чувством бессильной и отчаянной тоски.

Судьба или случай привели ее к Фонтанке, неподалеку от Обуховского моста, и точно так же, как и Вересов, она в тяжелом раздумьи, усталая, остановилась на набережной и, лицом к реке, облокотилась на гранитную решетку.

«Нет, так жить нельзя... невозможно – шептала она, глядя на застывшую воду. – Чем так-то маяться, лучше сразу покончить... Минута – и конец! И конец, всему конец!.. Да вот и искать-то долго нечего: вода под рукою! Сойти вниз и в первую же прорубь...»

И с этой мыслью она на минуту забылась, как бы уставши думать и рассуждать о чем-либо.

«Так что же? Так иль не так? – очнулась Маша через несколько времени, быстро подняв свою голову. – Так иль не так?.. Э, да что тут думать! Благослови, господи!»

И, спешно перекрестившись, она решительным шагом пошла к ближайшему спуску. Огляделась, и видит: по той стороне реки полуразрушенная барка зимует, а по этой, шагах в двадцати, к середине замерзлого протока, две елочки над прорубью покосились.

Маша тихо и осторожно подошла к этим елочкам, словно бы к чему-то неизвестному и таинственному. Минутная решимость начала понемногу оставлять ее, хотя она сама еще не замечала этого, совершенно бессознательно уступая инстинкту жизни и самосохранения.

Остановилась на краю и даже за колючую ветку слегка рукою ухватилась. У ног ее чернелась прорубь, и Маша, с серьезным, почти строгим выражением лица, стала смотреть в эту темную воду. Она как будто хотела разгадать, что там делается, в глубине под водою, расслушать какие-то подводные звуки и голоса, проникнуть острым взором в самую глубь, чтобы разглядеть, какая там есть эта жизнь подводная.

«Какая черная!.. Темнота-то какая! – прошептала она, почти невольно отклоняясь немного назад и потянув в себя дух от какого-то захлаживающего в груди ощущения. – Утопиться... Стоит только скинуть с себя лишнюю одежду и ступить вперед ногою... Нет, соскочить лучше... Да! если прямо соскочить, это лучше будет: скорее ко дну пойдешь... Ко дну... А если не сразу? Если не удастся сразу-то потонуть, тогда как?.. Охватит тебя всю водою – так и окует!.. А ведь она теперь холодная... Ух, какая холодная!.. Черная... Темно – ничего разглядеть нельзя... Холодно в воде-то, я думаю... особенно, как захлебываться станешь... Холодно...»

И Маша еще больше отклонилась в сторону, тогда как всю ее внезапно передернуло нервическим трепетом при одной мысли о речном холоде. В ту минуту этот холод не то что представился, а именно как бы почувствовался, ощутился ею с такой поразительной, отчетливой ясностью, как будто не в воображении только, а на самом деле испытала она всю живую ошущительность холодной воды.

«Нет, страшно, страшно!..» – слабо закачала головой, под обаянием туманящего ужаса.

Но прошла минута – прошел и ужас. Маша опять стала мыслить: «А жить? Разве жить лучше? И разве теперь вот не холодно мне?.. Там одну минуту будет холод: минута – и кончено!»

А тут всю жизнь! Всю-то, всю-то жизнь, как есть, только холод, холод! Ой, страшно!.. Нет, уж лучше решаться сразу!»

И Маша снова, решительно и смело, ступила на самый край проруби. Опять зачернелся у ног ее темный кружок воды, отороченный ледяной корой – и опять, при виде его, замедлилась Маша. В эту минуту она стояла совсем уже не размышляя, как бы утратив даже самую способность думать; но за нее и в ней самой снова стал действовать бессознательный инстинкт жизни. Маше казалось, будто она так себе, без всякой причины замедлилась и безучастно глядела рассеянным взором по ту сторону канавы.

Вдруг в это самое время заметила она, что с противоположных сходов на лед какой-то человек спустился.

«Помешают! – мелькнула искорка в сознании девушки. – Лучше переждать, чтоб уж не успели вытащить».

Но она обманывала самое себя, едва ли даже сознавая это. Ей казалось, что не что иное, как только одно желание получше и поудобнее исполнить свое намерение заставило ее переждать, пока пройдет через канаву посторонний человек, тогда как именно один только инстинкт жизни и вызвал в ней мысль об этом пережидании – инстинкт жизни, хватающийся с самым затаенным, незаметным лукавством за первый подходящий случай в свою пользу.

Но смотрит Маша, посторонний человек, вместо того, чтобы переходить на ее сторону, вступил на барку и направился вдоль нее к каюте: вошел в дверцу и тотчас же назад подался, переждал немного и опять скрылся туда же.

«Что же это значит?.. Он, верно, сейчас выйдет опять, назад вернется», – думает Маша и ждет, скоро ли это случится. Обернулась назад и видит – на набережной изредка прохожие показываются.

«Что же это я стою тут? Пожалуй, заметят еще, догадаются, да наблюдать станут, – домекнулась она. – Лучше уж отойти к набережной, да обождать под ней, пока тот выйдет».

И, отойдя к берегу, она прислонилась к гранитной стене, так, что сверху было бы трудно разглядеть ее. Прошло около десяти минут, а человек из барки не возвращается.

«Что же это значит?!» – с удивлением задает себе Маша вопрос, и вдруг ей пришло на память, что у них в Колтовской и на Петербургской стороне неоднократно, бывало, рассказывали, как разные мошенники, около мытнинского и Крестовского перевоза, держат по зимам ночлеги в пустых барках, выходя оттуда на грабеж и даже, случается, людей иногда убивают.

«Верно, и здесь мошенники», – подумала она; но при этой мысли не ощутила ни малейшего страха: рассудок, с сознанием своего отчаянья и горя, говорил ей, что надо покончить с собою, и покончить сегодня же, так статочное ли дело, при таком намерении, пугаться ей каких-нибудь мошенников?

Ноги ее меж тем начинало сильно знобить от продолжительного стояния на льду на одном и том же месте, а порывы ветра пронизывали ее холодом.

«Однако, чего же я жду, в самом деле?.. Только время даром уходит!» – встрепенулась Маша, стряхнув с себя все эти посторонние и почему-то преимущественно ползущие в голову мысли, которые как-то сами собою, непрощенные появляются у человека именно в подобные и, по-видимому, самые решительные мгновенья его жизни, когда, казалось бы, вовсе не должно быть места в голове посторонним мелочам, а эти мелочи меж тем так и плывут одна за другою, словно прихотливые клочки облаков по небу.

И снова подошла она к елочкам – и вдруг снова встают те же самые мысли, и ясно воображаемое ощущение холодной воды, и невольный ужас, при взгляде на темный кружок проруби!

«Нет!.. Я не могу утонуться!.. сама – не могу: сил не хватает! – прошептала она в отчаянии. – Господи!.. ведь это... это – самоубийство!.. Страшно... ужас берет!.. Не могу я!»

И вдруг увидела Маша, что человек выбежал из барки, бросился тут же на снег и стал копошиться в нем. Что именно делал он? – она понять не могла и только пристально следила

за его движениями. Мысль о своем безысходном положении и о необходимости умереть заволочлась в ее голове каким-то туманом. Она как будто потеряла нить этих мыслей, как будто они исчезли куда-то, испарились подобно туманному облачку; от Маши вдруг ушло куда-то и ее настоящее, и ее прошлое, а сама она безучастно и безотнositельно глядела по ту сторону, на неизвестного человека, словно бы ей и делать больше нечего. Случается, что именно такие бездумные, бесчувственные, рассеянные минуты откуда-то вдруг слетают на человека среди самого беспредельного отчаяния и горя. Душа человеческая, словно бы от сильной усталости, возбужденной этим отчаянием, возьмет вдруг да и закоченеет, замрет, застынет совсем на несколько минут в таком рассеянном и ко всему безучастном положении. Нет в ней ни намекa мысли и намекa чувства, нет даже во всем организме ощущения какого-либо. Стоит Маша и смотрит на человека, а для чего стоит и зачем смотрит – про то и сама не ведает. Но вот он снова поволок ноги в свою барочную конуру. «Верно, больной, – подумала Маша, и с этой мыслью словно очнулась. – Что же теперь остается?.. Умереть – духу не хватило... жить – тоже не хватает решимости...»

Она тихо побрела вдоль по замерзлой реке – туда, где чернелась, как темный зев, арка Обуховского моста. Вошла в эту арку и остановилась, осматривается – темно, сверху дробный топот копыт раздается глухо, и невольно кажется, будто от этого топота и гула сейчас обрушится арка, – но арка крепка и стоит нерушимо уже многие десятки годов. В темноте ничего не видно под мостом.

«Остаться разве здесь? – подумала Маша. – Здесь все же спокойнее... отсюда не выгонят, не увидят... Говорят, что иные ночуют под мостами».

И она уже думала было где бы поудобнее приютиться у гранитной стенки, а ветер, с двух сторон врываясь в узкое пространство арки, свистел и выл под сводом, с какой-то дикой, словно б одушевленной силой, и невольно наводил страх на молодую девушку.

Опустилась Маша на лед, подле кучи свезенных сюда уличных сколков мерзлой грязи и снегу, и вдруг рука ее уперлась в какую-то шерсть. Маша быстро вскочила на ноги и с отворачиванием выбежала вон из-под арки. Сердце ее быстро екало, и колени дрожали от ужаса. Это была какая-то дохлая падаль, но девушке почудилось, будто она ухватила за волосы человеческого трупа. Ей сделалось страшно – страшно быть одной, и потому она торопилась убежать из этого места, и снова очутилась недалеко от полуразрушенной барки.

«Там, верно, люди есть, – подумала она, глядя на притворенную дверь каюты, – там можно приютиться. Пойду к ним! Может, не выгонят... упрошу Христа ради».

Эта мысль, давшая слабую надежду на приют и спокойствие, немного ободрила девушку, которая несмело переступила порог каюты, но вместо человеческого голоса услышала одно только глухое ворчанье.

Все тихо, а людей как будто совсем незаметно. «Что же это такое?! – И Маша в недоумении остановилась у порога. – Где же человек-то? Ушел он, что ли?.. Одна собака только... Господи! Все же это легче: не одна хоть буду... все же есть живое существо...»

Прислушалась – чу! – кроме рычання собаки еще чье-то дыханье слышно – ровное, сонное дыханье.

«Это верно такой же несчастный бездомник, как я! – подумала девушка, все еще прислушиваясь к дыханию. – Верно, и ему нет иного места на свете, кроме заброшенной барки...»

«Стало быть, не одна я на свете... стало быть, и еще есть такие же... Может, и много их так-то шатаются, да живут же ведь и в голоде, и в холоде, а не думают о смерти».

Так думала Маша, и эта мысль, нежданно-негаданно, произвела на нее совсем особенное впечатление: она как будто несколько довольна и эгоистически рада была, что не одна она такая на свете, что есть кроме нее и другие, которые, может быть, столько же, а может, еще и больше терпят да мучатся – и ей как будто несколько спокойнее стало вдруг на душе от этого далеко не веселого ожидания.

«Вот спит же себе человек, стало быть, если уж больше негде, так можно и здесь приютиться, – подумала вслед за тем Маша. Обстоялась она несколько времени, и чувствует, что в каюте не так холодно, как на улице и, особенно, как среди Фонтанки, да и ветер не продувает, и как будто спокойнее, чем невесть где по городу шататься. Она, почти до изнеможения, чувствовала страшную усталость, при которой, после полного сознания о недостатке решимости на самоубийство, ее пугала мысль бесприютного шатания по улицам, вплоть до рассвета, где ни сесть, ни простоять сколько бы самой хотелось, на одном и том же месте, нет никакой возможности: придут и сдвинут, а не то люди вокруг соберутся, станут удивленно глазеть на тебя, да допытывать, зачем стоишь, мол, так долго, да как да почему, да отчего именно с места не двигаешься?»

«Чем там шататься, так лучше здесь отдохнуть, – решила Маша, выискивая себе место в противоположном углу от Вересова. – Не выгонит же он меня отсюда... А и выгонит, так все-таки, хоть сколько-нибудь отдохнуть успею... Да зачем ему гнать! Ведь барка столько же и моя, сколько и его: барка общая».

И, успокоенная таким решением, девушка плотнее закутала голову и грудь своим широким платком, покрепче запахнула бурнусишко и села, прижавшись к стене, в темный угол.

Вскоре и ее охватил не то что сон, а какое-то легкое, тонкое забытие – скорее даже оцепенение, при котором, как будто и спишь, и в то же время смутно окружающую действительность слышишь.

* * *

Был первый час в начале, когда проснулся Вересов от холода, который начал пробираться к членам. Спал он около трех часов, и этот сон, не подкрепляя, только хуже еще разломил ему все тело. Открывши глаза, он заметил в каюте какой-то зеленоватый полусвет, допускающий различать, хотя и смутно, окружающие предметы. По небу носились клочками беловатые тучки, разорванные ветром из одной сплошной массы, покрывавшей горизонт уже несколько суток. В вышине стояла полная луна, и несколько зеленовато-серебристых лучей ее пробилась в два барочных оконца и двумя туманными полосами косвенно пронизывали темноту каютки. Одна из этих полос западала в противоположный угол и неровными пятнами ложилась на лицо и местами на скорчившуюся фигурку Маши.

Вересов начал вглядываться и с полуиспугом, с полуизумлением заметил сперва чье-то лицо, тускло озаренное луною, а потом и всю эту фигурку. Подумал было он, будто это во сне ему грезится, но тут же убедился, что не спит, и что в действительности в том углу есть кто-то.

– Кто тут? – громко окликнул Вересов.

Девушка вздрогнула, раскрыла глаза и пристально стала глядеть на своего соннолежащего, но с места не двигалась.

– Кто тут? – еще громче и с некоторым беспокойством повторил последний, подымаясь на ноги.

Маша робко встала и торопливо направилась к дверке, как вдруг тот ухватил ее за рукав и пристально стал всматриваться в лицо.

– Я уйду... я сейчас уйду... – прошептала Маша, испуганная его неожиданным прикосновением.

– Да я не гоню... Разве я гоню тебя? – возразил Вересов. – Я только спросил, кто ты?

Девушка без ответа опустила голову: она не знала, уйти ли ей, или остаться – и пока в нерешительности стояла на одном месте.

– Ты одна была здесь? – спросил Вересов, который боялся, чтобы какой-нибудь новый обитатель покинутой барки не выжил его из этого логовища.

– Одна, – прошептала смущенная девушка.

– Зачем ты здесь была?

Ответа не последовало.

– Что тебе здесь надо было? Зачем ты была здесь? – повторил все еще опасавшийся бездомник, которому не хотелось расставаться с последним своим убежищем.

– Да когда деваться больше некуда... Надо же куда-нибудь! – возразила девушка.

Вересов успокоился.

– Так ты... все равно, как и я... Обоим нам некуда, – проговорил он кротко, опуская ее рукав. – Оставайся... Куда ж идти-то?... Зла я тебе никакого не сделаю... Оставайся себе – места хватит...

Маша еще с минуту постояла раздумчиво и вернулась на прежнее место. Вересов тоже улегся подле собаки, и долго, из своей темноты, смотрел на девушку пристальными глазами. Она по-прежнему свернулась в комочек, скорчилась, закутавшись в бурнусишко, и сидела в углу, плотнее прижавшись к промерзлой стенке.

Оба молчали, и это молчание длилось довольно долго. Слышно было только их дыхание да порою слабые щенячьи взвизгивания. А Вересов все еще не спускал с нее взоров. Холод пробирал Машу, забирался в ноги и в локти, а оттуда вдоль спины, по лопаткам. Она нервно-честки вздрогнула и, встrepенувшись, зябко потянула в себя воздух, сквозь сжатые зубы.

– Тебе холодно? – спросил вдруг Вересов, глядевший на нее в эту минуту.

– Холодно... – ответила дрожащая Маша.

– Хм... Что станешь делать!.. Вот подожди до утра: к заутрене зазвонят – пойдем, пожалуй, в церковь, там печки к тому времени истопятся: можно согреться.

И он опять замолк, продолжая глядеть на озябшую дезушку. Он раздумывал что-то, борясь между состраданием к такой же, как и сам, несчастной, и эгоистическим поползновением не уступать ей жалкие выгоды своего положения. Наконец первое превозмогло:

– Ступай, пожалуй, сюда: здесь теплее – у меня рогожка есть, – предложил он. – Ляг вот тут, прикройся.

– А ты-то как же? – отозвалась Маша, в нерешительности принять его предложение.

– Я уж в досталь лежал... мне ничего!.. А мы попеременно будем... Холод-то какой, проклятый!

– Н-нет ничего... я и здесь буду – у меня платок есть, – отозвалась она.

– Ну, как знаешь! – поспешил закончить Вересов, будучи рад, что можно по-старому остаться под рогожей.

Прошло еще минут с десять, в течение которых он уж снова было начал слегка забываться дремотой, как вдруг услышал, что зубы соседки бьют лихорадочную дробь от холода. Его и самого порядком-таки знобило.

– Эк ведь ты какая! – начал он с досадливым укором. – Зовешь тебя, а ты не хочешь!.. А сама вон – зубами щелкает!.. Ступай, говорю, ко мне! Ложись подле! Так-то вместе теплее будет... Мне ведь тоже холодно! Ведь вон собака – греет же щенят под собою... Этак больше тепла будет идти.

Девушка подумала с минутку; но холод преодолел. Она поднялась из угла и перешла к соседу.

И легли они рядом, покрывшись дырявой рогожей.

Холод сблизил этих двух человек, которые совсем не знали друг друга, даже о физиономиях один другого не умели составить себе понятия, потому что едва-едва лишь могли различать их при слабом свете двух тусклых полосок лунных лучей, проникавших порой сквозь оконца в их темное и холодное логовище. Они походили скорее на два какие-то животные существа, в сознании которых лежал теперь один только инстинкт – защитить себя от холода.

И они крепко-крепко прижались друг к дружке, обнялись руками, обхватили ногами один другого, забившись с головой под тощую рогожку, и старались в общем дыхании ото-

греть свои лица, свою грудь и шею. Тут уже было позабыто всякое различие полов; им и в голову не пришло совсем, что один – мужчина, другая – женщина. До того ли им теперь было? Эти крепкие объятия являлись у них невольным, как бы инстинктивным следствием того, что холод чересчур уже пронимал, что являлось чисто эгоистическое желание предохранить себя от мороза, а достичь этого удобнее можно было лишь только прижавшись, как можно крепче, один к другому и дышать, дышать, дышать, чтобы хоть сколько-нибудь согреть холодный воздух под рогожею. Тут было одно только обоюдное ощущение – ощущение холода, и одно только обоюдное животное желание – желание согреться.

Между тем голод, который во время сна несколько поутих было, проснулся теперь снова и стал еще мучительнее, чем прежде.

Вересов чувствовал в желудке какую-то сжимающую, судорожную боль, от которой подымалась в груди тошнота, а во рту – густая голодная слюна накопала. Он не выдержал этих страданий и начал стонать, и в злобном отчаянии до крови кусал свои руки и ногти.

Маша тревожно подняла голову.

– Что ты?.. Что с тобой?.. – беспокойно спросила она шепотом.

– Я есть хочу!.. Я голоден! – с истерическим, рыдающим воплем простонал Вересов, судорожно корчась и ворочаясь на своем месте.

– Нет!.. Это невыносимо!.. Я голову разможу себе! – внезапно и стремительно вскочил он, вне себя от отчаяния и злобной тоски.

Маша в испуге поднялась тоже.

– Пусти!.. – оттолкнул ее Вересов. – Пусти, или я задушу тебя!

Та отшатнулась и глядела на него из угла в недоумении и страхе.

Голодный человек, скрежеща зубами, ударился затылком о стену. И вслед за тем она слышала, как несколько раз повторился глухо-сухой и короткий звук, который издавала стена от ударов об нее человеческого затылка – только и было слышно, что этот странный стук да скрежет зубовой.

Маша бросилась было к нему, но в это самое время, с рыданиями и стоном, изнеможенный, он рухнул на пол, катаясь по нему от судорожных сжатий желудка.

Вересов был человек нервный, слабый, не умевший владеть собою и легко поддающийся высшей степени отчаяния, ибо подобные натуры вообще способны больше, сильнее чувствовать каждое ощущение и даже сильно преувеличивать его в своем сознании. А в эту минуту отчаяние и боль от голода, соединенные с мыслью о полной безысходности, о том, что и завтра, и послезавтра предстоит все то же самое, вывели его из последнего терпения.

– О чем ты? Что с тобой? – повторила Маша, приблизившись к нему и опустившись на колени.

Первое движение ее, при виде этого неистовства, было – бежать отсюда, но в ту же минуту человеческое сострадание, сочувствие и понимание подобного отчаяния остановили ее. Несмотря на собственный страх и горе, она осталась и даже поспешила к нему на помощь.

– Ты голоден – боже мой! Так ведь можно же купить хлеба! – убеждала она.

– Купить?!

Вересов приподнялся на локте.

– Купить?! Купить?! А!.. так ты еще смеяться надо мною!!!

Он сильно схватил ее за руку.

– Да нет же, у меня деньги есть – воскликнула Маша, не зная, что ей делать и куда деваться и как вырваться от этого бешеного, и в то же время болея о нем и желая помочь ему.

– Деньги?.. Ты не лжешь?.. У тебя деньги есть? Давай их сюда!.. Давай!..

И он быстро поднялся с полу. Неожиданная надежда утолить свой нестерпимый голод мгновенно придала ему новые силы.

Маша торопливо опустила руку в карман, достала оттуда несколько медяков – насколько горсть захватила – и сунула их в ладонь дрожащего Вересова, который в ту же минуту опрометью бросился вон из баржи.

Девушка вздохнула несколько свободней.

«Уйти бы скорей отсюда!» – было первое движение Маши, как только она осталась одна, перестав прислушиваться к удаляющимся шагам Вересова, которые наконец затихли, когда он поднялся на набережную.

И она вышла из своей берлоги, но чуть показалась только за дверку, как вдруг ее охватило холодным порывом ветра и снова всю проняло до самых костей. На набережной тускло мигали фонари и до рассвета было еще не близко.

«Куда ж идти?.. Где там шататься?.. Уж лучше здесь до утра переждать... Теперь – одна ведь», – подумала она и снова спряталась в каюту, забившись, как прежде, под рогожу.

Она думала об этом несчастном, голодном человеке, вспоминала последние мгновения его отчаянного неистовства и с ужасом представляла себе, что не сегодня – завтра и ей предстояло то же самое. Только теперь она вспомнила, что с самого утра тоже ничего в рот не брала, и при этой мысли как-то вдруг почувствовала некоторый позыв на пищу. Она была голодна, только голод ее до этой минуты не давал себя чувствовать, задавленный множеством других тяжелых ощущений. И лишь тогда, когда живой пример сончлежника представил ей это чувство со страшными его последствиями, она вспомнила про голод свой собственный, и ей захотелось есть, захотелось согреться чем-нибудь теплым – выпить чаю стакан. Но – удовлетворить этому позыву не было никакой возможности.

Маша вздумала удостовериться, сколько у нее денег осталось, и рука ее в кармане ощутила одну только медную пятикопеечную монету. «Стало быть, я полтинник ему дала, – сообщила она, и ей стало досадно и жалко, зачем так много. – О себе не подумала, бог весть кому отдала последние деньги, а теперь сама-то что станешь делать?»

Прошло около получаса времени, с тех пор как ушел Вересов из барки.

Маша, в тупом оцепенении, решила терпеливо дожидаться рассвета, как вдруг скрипнула дверка и раздался его голос:

– Ты здесь еще?

– Здесь, – испуганно ответила девушка.

– Спасибо за хлеб!.. Я есть тебе принес, хочешь есть?

И он вынул из-за пазухи три пеклеванных хлеба, разрезанных наполовину, и в каждом из них торчало по куску жареной ветчины.

Маша хотела уж было приняться за эту закуску, как снова Вересов остановил ее:

– Ты постой, ты выпей прежде, я и водки с собою принес, – сказал он, вынимая из кармана кошку.

– Я не могу... не пью я, – возразила было девушка.

– А ты выпей, говорю тебе! – настойчиво перебил ее Вересов. – Ведь зазябла совсем! Как выпьешь, отогреешься.

Он сколупнул пробку и подал ей посудину.

Маше и есть хотелось, и в то же время жажда томила ее, так что она сразухватила три-четыре крупных глотка и закашлялась. Ей еще впервые приходилось пить водку, как воду, доселе же она имела о вкусе ее самое смутное понятие. Почувствовала, как зажгло внутри в озяблой груди и желудке, как легкое и приятное тепло внезапно пошло переливаться по всем суставам – и с жадностью принялась за свой пеклеванный.

Вересов проглотил остатки и тоже принялся за жеванье. Ни разу еще в жизни своей не жевал он с такой волчьей жадностью и не глотал куска с таким наслаждением, как в эту минуту, работая над сухой и ржавой ветчиной, в своей темной и холодной берлоге.

* * *

Получивши от Маши полтину, он не пошел, а побежал, преодолевая боль и тяжесть в ногах, по Обуховскому проспекту, к Сенной площади. Тюрьма послужила-таки ему к приобретению кой-какой опытности. В тюрьме узнал он, что на Сенной существуют кой-какие заведения, где неофициальным образом производится торговля и в ночную пору: в окнах горят огни, а входная дверь вплотную приперта, но стоит лишь постучаться, и она гостеприимно отворится. В тюрьме же узнал он, что на Сенной, позади гауптвахты, близ Спасского переулочка существует одно из подобных заведений, называемое «Малинником». Оно было наиболее знакомо ему по многочисленным рассказам; отыскать же хорошо известные по тем же тюремным рассказам приметы его было вовсе не трудно, особенно когда проводником человеку служит нестерпимый двухсуточный голод. Он постучался в двери, но тут же заметил, что она не затворена, а только приперта для виду, дернул ее со всей энергией и взбежал по лестнице в буфетную комнату. Пока ему доставали спрошенный шкалик водки, не разбирая накинута на первый попавшийся кусок, выставленный за буфетной стойкой, и остервенело стал жамкать краюху черствого пирога, чем вызвал даже удивление со стороны буфетчика, привыкшего вообще ничему почти не удивляться, вследствие непрерывного пребывания своего в этом заведении.

– Эк тебя, как хрястаешь! Видно, голод не тетка! – заметил он, выливая в стаканчик водку.

Вересов, ничего не отвечая, залпом проглотил ее и снова накинута на следующий кусок пирога, как вдруг буфетчик схватил его за руку:

– Буде, малец! Не шали! Ты прежде деньги вынь да положи на стойку! – предложил он. – А то, может, в кармане-то у тебя шишка еловая, а ты на ширмака налопаться норовишь? Это не модель – дело!

Вересов высыпал на стол все захваченные с собою медяки и распорядился, чтобы ему приготовили косушку водки да четыре пеклеванника с ветчиною.

– Ну, вот в обрез, как есть, полтина и будет, а деньги-то есть еще, аль все? – спросил буфетчик.

– Все тут! – прожевал голодный, снова протягивая к пирогу свою руку.

– Все, так не трошь чинёного, аль уж одного пеклеванника не бери, а то не хватит: не отпущу! – предупредил буфетчик. И Вересов с жадною быстротою сообразил, что пеклеванный хлеб будет побольше и поувесистей, чем кусок пирога, и потому, сколь ни хотелось есть, решился переждать минутку.

Но каким небесным благодеянием показалась ему прело-теплая и пропитанная всякою мерзостью атмосфера этого отвратительного приюта! Пока ему готовили закуску, он топтался на месте, размахивал руками, тёр ладони и в то же время дожевывал свой пирог, стараясь поскорее отогреться в комнатном тепле; и не успел еще буфетчик приготовить ему первый пеклеванник и положить в него кусок ветчины, как он уже выхватил у него из-под руки то и другое и снова принялся с необыкновенною быстротою терзать зубами это яство.

Отвратителен и печален вид жрущего таким образом человека, но неизмеримо отвратительней и печальнее безвыходный человеческий голод.

Вересову не хотелось уходить отсюда, потому что хотелось подольше пользоваться теплом, за которое особой платы не полагалось; но он вспомнил, что там, в барке, быть может, ожидает его прихода другое голодное и озябшее существо.

«Если не вернуться, так ведь это... ведь это, стало быть, я ограбил ее, – подумал он, – а может, она мне последнюю копейку отдала... может, завтра сама она, из-за меня, будет так же мучиться, – ведь бесприютная!»

«Эх, нехорошо!.. Надо вернуться!» – решил он напоследок, и только с минуты на минуту медлил уходить, чтобы хоть сколько-нибудь еще обогреться.

Не далее, как за каких-нибудь четверть часа перед этим, когда он испытывал мучительное, до отчаяния и зверства доводящее чувство голода, ему казалось ни по чем не только что ограбить, но даже и убить себе подобного человека; да он, весьма легко, может стать, и убил бы Машу, в порыве своего исступления, приняв за насмешку ее слова о хлебе, который можно купить, если б она не поспешила отдать ему свои деньги. Теперь же, когда первый кусок хлеба дал ему первое утоление, в животном, которое мы называем человеком, пробудилась и его действительно человеческая сторона: он вспомнил о другом своем голодающем и холодающем собрате.

Запихав в карман посудину водки да за пазуху три остальные пеклеванника, он, полунехотя – потому что приходилось наконец расставаться с теплом – кое-как обогреть и кое-как утоленный, побежал обратно в барочную берлогу, питая в душе сладкую надежду на половину оставшейся в запасе пищи.

* * *

Голодная собака, услышав чавканье и запах съедомого, поднялась с места и приблизилась к Вересову.

– Что, и ты, небось, хочешь? – проговорил он, думая поделиться с нею и в то же время эгоистически не решаясь расстаться со своим куском.

Собака в темноте обнюхивала его лицо и пеклеванник.

– Вижу, что хочешь, вижу! – продолжал он со вздохом, отламывая добрую половину хлеба. – И ветчинки, небось, также хочешь? Ну, на и ветчинки! Потрескай и ты заодно уж! Спасибо, не выгнала от себя! Это за то тебе, – говорил он, ласково теребя ее морду.

Собака, почувствовав на зубах своих пищу, тотчас же отошла в свой угол и, положив кусок между лап, уплела его с быстротой, не хуже Вересова.

– Ну, вот, ты просишь! – заговорил он, только что успев поделиться с Машей последним из принесенных пеклеванников, когда собака снова подошла к нему и, тихо виляя хвостом, стала визжать и обнюхивать.

– Ну, уж так и быть! На тебе еще, только – чур! – не просить больше, потому – последний! – сказал он, сунув ей в пасть половину своей порции.

Маша и от себя уделила половину.

И затем снова улеглись они под рогожку, закутавшись – один в свое пальтишко, другая в бурнусишко, снова крепко переплелись руками и плотно прижались друг к дружке, в надежде, ради обоюдного тепла, провести таким образом остаток ночи, пока не заблаговестят к заутрене.

Водка согрела и сразу одурманила Машу: голова ее кружилась, глаза смыкались под обаянием какого-то тяжело и в то же время сладко наплывающего сна, и через две-три минуты она крепко заснула, забыв и свои невзгоды, и свое настоящее, и свое прошедшее, – заснула тем сном, каким только может спать изнемогший от утомления, но – слава богу – сытый и немного пьяный человек, в свои молодые, крепкие силой и выносливые годы.

Заснул и Вересов, как убитый, почти одновременно со своей незнакомой, но сроднившейся в общей доле сончлежницей.

IX ВСТРЕЧА ЗА РАННЕЙ ОБЕДНЕЙ

В воздухе уже посерело и отволгло – признак рассвета и начинающейся за ним оттепели – когда проснулся Вересов.

«Слава богу, кажись, таять начинает – не так холодно будет шататься», – подумал он, выглянув за дверку.

Маша еще спала, свернувшись в комочек: видно было, что холод и сквозь сон понемногу все-таки пробирает ее. Вересов бережно покрыл ее рогожей и, поместясь подле, заглянул в лицо. Но пока еще нельзя ему было уловить ее черты, а заметил только, что лицо это, кажись, молодое.

Через несколько времени раздался первый удар благовеста, которого так ждал и которому обрадовался теперь Вересов: этот звон несет ему надежду на тепло в течение целых двух с половиной часов, пока будет длиться заутреня и ранняя обедня. Целые два с половиной часа он проживет у вытопленной церковной печки, целые два с половиной часа есть возможность отогреться! Понять вполне всю радость и наслаждение этой надежды может один только назябшийся вволю, наголодавшийся вдосталь и совсем бесприютный человек.

– Вставай, пора уже! – тихо дотронулся он до спящей девушки. – Пойдем греться, к заутрене заблаговестили.

Маша приподнялась со своего места и, протирая глаза, с изумлением оглядывала всю окружающую обстановку: крепкий сон отшиб у нее на время память с сознанием своего положения, и только совсем уж очнувшись, она живо вспомнила, где она и что с нею было.

– Надо выйти отсюда, пока не совсем еще рассвело, – заметил Вересов. – К ночи, может, придется опять сюда же вернуться, так лучше поосторожней быть, а то как станет светло, пожалуй, полицейские заметят да перехватят, в части насидишься.

Для Маши было теперь совершенно все равно: в части ли сидеть, в тюрьме ли, или по белу свету шататься; но Вересов, отведавший уже, что такое неволя, знал цену своей свободе. Ему за ничто казалось потерять ее вчера, когда изнывал от голода, но теперь, пока голод успел угомониться на время, он дорожил этой вольной волей, он ревниво берег ее.

На Спасской Сенной колокольне гудел еще блавест, когда двое бесприютных спешно шагали по площади, направляясь к церкви. Перед местными образами теплились лампы и звучно раздавался фистуловый тенорок дьячка, гнавшего, словно на почтовых, свое чтение. Две-три сердобольные старушонки в черных капорах, неизбежные посетительницы какой бы то ни было церковной службы, разместились уже по разным уголкам храма, со своими обычно сокрушенными вздыханиями – о чем? про то они и сами едва ли знают: может – от умиления, а может – и от поясничной боли. Появился тоже и согбенный подслеповатый старикашка на своем вечном месте, близ входных дверей – тоже неизменная принадлежность каждой приходской церкви. Старикашка в течение своих многолетних стояний давным-давно уже успел на слух заучить в своей хилой памяти всевозможные службы и, медленно крестясь, непременно бормочет вполголоса, вслед за читальщиком, каждый псалом и каждую молитву; а случится пение – он непременно подпеваает своим разбитым старческим голосом, и вечно не в тон подпеваает, но всегда норовит затянуть прежде дьячков. Старушки, проходя мимо, непременно поклонятся ему с жалостливой улыбкой, и он им тоже поклонится, степенно и важно. Он постоянно первым приходит и последним выходит из церкви. Без этих неизменно присутствующих и самых усердных молельщиков не обходится ни единая служба ни в единой приходской церкви: старичок с фальшивым пением и три старушонки с вздыханиями составляют почти единственных посетителей заутреней и вечерней, невзирая ни на какое время дня и ночи, ни на какую погоду, ломающую подчас их древние кости.

Бездомники поместились у самой печки: Вересов стоял прижавшись к ней спиной, которая больно уж зазнобилась у него во время ночи, а Маша тут же опустилась и села на колени, прислонясь щекой к теплой печи, и обоим им стало теперь хорошо – насколько может быть хорошо зазяблым людям в подобном положении – оба про все пока позабыли, и только грелись и грелись...

«А давно уж я не была в церкви», – подумала девушка, блуждая взором по слабо освещенному храму – там, где темный иконостас уходил в серовато-рассветную мглу купола, где красноватыми звездочками тускло мигали лампы, постепенно становясь тем бледнее, чем больше проступало утро. Она переходила взором от предмета к предмету, прислушивалась к скудным звукам двух дьячков, к этим с детства знакомым напевам, к тихому голосу священника, долетавшему из алтаря, словно невесть откуда – как будто с воздушной высоты какой-то – и невольно вспомнилось Маше ее тихое, светлое, спокойное детство, этот серенький домик с садиком в Колтовской, эта чистенькая комната и мезонине, в окна которой заглядывали, вместе с утренним солнцем, ветви медоводушистой черемухи и смолистых берез, а внизу лиловая сирень благоухала; вспомнила она и эти бесконечно добрые, честные лица своих стариков, на которых было написано столько любви и любования ею – молоденькой девочкой, для которой они всю свою жизнь посвятили; но тут же вспомнился до трагизма грустный, хотя и обыденный конец этих стариков. «Одна, с тоски, – в могиле, другой – в сумасшедшем доме, – черным облаком пронеслось в голове Маши. – И ты, одна только ты причиной всему этому!..»

Тяжело было такое сознание ей, обвинявшей во всем одну только себя и никого больше; тяжело было ей вспомнить все эти безвестно тихие, отрадные картины своего детства, своего чистого девичества, и все это, словно бы нарочно, так ясно, так отчетливо представилось ей в эту минуту, в этом сероватом полусвете храма, по которому легкими струйками ходили синеватые облачка пахучего ладана и тихо раздавались церковные напевы, бедные мелодией, не совсем стройные, но почему-то так и напоминающие светлое детство.

«Да, давно-давно не была я в церкви, – снова подумала Маша, – с тех пор и не была, как из Колтовской увезли... А и теперь-то! – Не молитва, а только холод загнал!»

И Маша почувствовала, будто что-то похожее на укор кольнуло ее в сердце. И ей захотелось воротить свое счастливое, беспечное детство, с его чистым смехом и чистыми молитвами, так сильно захотелось молиться и плакать – много молиться и много плакать.

И она молилась и плакала.

Она молилась и плакала, а Вересов стоял над нею, сбоку, и глядел на это детски-красивое лицо, вдохновенное молитвой и слезами, глядел искоса и несмело, чтобы взором своим как-нибудь невзначай не смутить ее слез, не нарушить ее молитву. И это лицо только теперь вполне разглядел он: в ту минуту оно показалось ему столь девственно-чистым, столь многострадающим и ангельски-прекрасным, что он в каком-то невольном благоговении отступил на шаг от прежнего места, словно бы не дерзал приблизиться и стоять рядом с тою, для которой была еще возможна и доступна такая чистая молитва...

Он невольно глядел на нее в каком-то почтительно-благоговейном удивлении: он никогда еще в своей жизни не видел, чтобы люди могли так молиться.

«Кто она? – думалось ему в эту минуту. – Кто она?.. Голодная, бесприютная... ночь – в барке... У нее никого нет, стало быть, – никого в целом свете!.. Никого!»

И это слово повеяло на него каким-то ужасающим, гробовым холодом.

«Кабы был кто, разве ее пустили бы так?.. Она – честная... Да, честная душа, а иначе не молилась бы так... и в барке не ночевала бы».

«И так-таки одна, совсем одна... Ни отца, ни матери... ни сестры, ни подруги... Все отступились или все перемерли?..»

«А она, должно быть, не из простых, – продолжал Вересов строить свои предположения, искоса взглядывая на лицо молящейся. – Должно быть, так, потому – это по лицу сейчас видно:

у простых не бывает таких тонких линий, такой нежности не бывает... Она головку той статуйки напоминает мне... Лепил было я да не вылепил!.. Вот бы с нее вылепить!..»

«Да... И движенья-то у нее все какие-то особенные: просто, а хорошо... Настоящая, значит, грация есть».

«Да, это верно: она не из простых, – решил он наконец, вполне убеждаясь в своем предположении. – Странное дело!.. Как же это она так?.. В барке... голодная... Зачем это? Почему? Кто у нее отец и мать?.. Что же это они – живы? умерли?.. Боже мой! Горя-то, горя у нее сколько!.. Ах, ты несчастная моя, несчастная!.. Что-то из тебя выйдет теперь! Да, это верно: у нее никого нет!» – заключил Вересов с какою-то щемящею болью в душе, и вдруг лицо его исказилось оттенком суровой и злобной мысли. «А у тебя?.. У тебя-то у самого есть, что ли, отец или мать?.. Есть они? Где? Покажи на них!»

«Отец... Как же, отец-то есть, да разве это отец тебе?»

«Верно, и у этой то же самое».

Но вдруг в ту же минуту Вересов вздрогнул и отшатнулся назад: случайно отвратя глаза в другую сторону, он увидел своего отца.

Но – странно! – старик Морденко явился в церковь не по-всегдашнему, не в ободранном халатишке, подпоясанный дырявым фуляром, не в том обычном костюме, в котором украдучись пробирался он обыкновенно, в вечерней темноте, на паперть Сенного Спаса, чтобы двуручничать промеж нищей брата, – нет: теперь на старом скряге-ростовщике был надет его лучший, долгополый темно-синий сюртук, в который облакался он только в самых экстраординарных случаях, на плечах висела новая ильковая шуба, в руке – шапка соболя – и то и другое, очевидно, из заложенных, но не выкупленных вещей. На желтовато-сухом, старчески-выцветшем лице написано торжество необычайное: стеклянный, неподвижный взор его как-то приободрился и блестит, как блестят иногда в камине совсем уже потухающие угли: сейчас вот, мол, огонь умрет, застынет, а последняя искорка тем-то и светлее, тем-то и ярче кажется б окружающей темноте. На сморщенно-сжатых и тонких губах его так и проскальзывала необыкновенно самодовольная, гордо торжествующая и счастливая улыбка; во всех движениях так и кидалась в глаза какая-то возбужденность, энергия, живость; словом – Морденко совсем не походил на себя, на тот угрюмый и как бы полуживой скелет, обтянутый пергаментно-желтой кожей, каким все уже давным-давно привыкли видеть его. В жизни этого старика, очевидно, совершилась какая-то необычайная метаморфоза: он весь сиял, торжествовал, стряхнув с себя прежнего, затхлого и ветхого, залежавшегося Морденку – теперь уж он был и тот, да не тот Морденко, а как будто обновленный, помолоделый, счастливый, удовлетворившийся и потому торжествующий.

Свечной староста и церковные прислужники, привыкшие уже в течение стольких лет видеть его на своей паперти в его былом, угрюмом и поношенном образе, немало удивились, заметя столь необыкновенную перемену, особенно же удивлялся староста, к которому, войдя в церковь и торжественно положив три земных поклона с осененьем себя широким, медлительным крестом, прежде всего подошел Морденко.

– Доброго утра, почтеннейший! С праздником! – обратился он к старосте, забывая, что теперь не время для таких приветствий и что благочестивые люди приветствуют друг друга не за обедней, а после нее. – Позвольте-ка мне четыре полтинных свечи, – продолжал он, – четыре полтинных: спасу и пречистой, празднику и всем святым.

Староста, удивленный столь необычно щедрой для известного скряги церковною жертвою, поглядел на него с изумлением, однако же ничего не промолвил и положил перед ним четыре больших свечи.

Морденко вынул трехрублевую бумажку и попросил сдачи медными:

– Нищую братью оделить желаю.

Пока староста набирал ему медяков, старик не утерпел, чтобы не попробовать на ладони вес четырех свечей: точно ли, мол, они полтинные?

Получил в сдаче целую грудку разнокалиберных медяков и опять-таки не утерпел: весьма тщательно пересчитал всю сумму.

– Почтеннейший, кажись, вы ошиблись на грошик... гроша не хватает.

Многолетняя привычная скарденность и тут-таки немножко просочилась.

– Нет, кажись, верно – позвольте перечесть, – возразил староста и перечел. Действительно, его счет оказался верным. Морденко слегка сконфузился, улыбнулся и извинился тем, что ему так показалось: от старости глазами плох стал.

– Так вот, перешлите, как сказано, – продолжал он, с поклоном вручая старосте купленные свечи. – Да вот что еще, почтеннейший: попросите там кого-либо, чтобы заявили батюшке, что я желаю молебен петь... благодарственный молебен – так пускай уж они после обедни отпоют мне его.

– Что это вы так, ныне... торжествуете? – с благодушно-сановитой улыбкой заметил ему бородатый староста, который, созерцая такое необычно странное явление, никак не мог выдержаться, чтобы хоть немножко не удовлетворить своей любознательности насчет метаморфозы старого скряги.

– Да, почтеннейший мой, да! Торжествую! – отвечивал Морденко с радостно-самодовольным дрожанием в голосе. – Торжествую! Потому что вседержитель справедлив... О, справедлив он... справедлив... Послал мне благое свое споспешение, на враги же победу и одоление послал!.. Слава долготерпению его, слава!..

И Морденко поспешно полез в задний карман сюртука за фуляровым платком и, отвернувшись, смахнул им выкатившуюся на глаза свои слезинку.

Затем отошел он к сторонке и, упав на колени, молился долго, бия себя в грудь и помаывая дрожавшей головой.

Вересов видел его и всю предыдущую сцену, слышал почти все слова его, и захотелось ему уйти поскорее из церкви, чтобы не встретиться с ним больше – благо, пока еще старик не заметил его; но трудно было с теплой печкой расстаться, да и потом невзначай взглянул на молящуюся Машу, и почему-то невольно вдруг захотелось ему остаться подле нее, не отходить от нее, быть как можно дольше вместе с нею – нужды нет, что встретится с отцом! Что ж из этого? Пускай встречается! Пускай он видит да любит, до чего сам же довел своего сына! «Да полно, сын ли я ему еще! – думает Вересов. – Неужели отец, родной отец мог бы быть таким к своему сыну? Неправда! Приемьш я ему – и только, а приемьша – что жалеть? Не кровь ведь!»

И он опять погрузился в свои невеселые думы, время от времени взглядывая на тихо плачущую девушку.

Отошла служба, отпели и заказанный Морденкой молебен. Немногочисленные молещики вышли из церкви, пошел и Морденко за ними, но, проходя мимо печи, вдруг остановился, недоумелый и пораженный: он нечаянно столкнулся взорами со своим сыном – и в первое мгновение как будто обожгла старика эта неожиданная встреча. Но тотчас же посуровело его желтое лицо, словно бы вдруг оно деревянным сделалось, и ни один мускул не дрогнул на нем, когда он с этим неподвижно осуровевшим лицом, по-видимому, спокойно и твердо, прошел мимо сына, показывая вид, будто совсем не замечает его.

Вересов выдержал на себе его стеклянный, холодный взгляд и, не потупя в землю взоров, без смущения, проводил ими старика до самого выхода.

Маша кончила свою молитву. Глаза ее были еще влажными, но грудь уже дышала спокойнее и легче. Несколько времени она оставалась в прежнем положении, бессильно опустя на колени сложенные руки и прислоняясь головою к печи, как бы утомленная, в каком-то религиозно-сладком забытии; веяние молитвы не успело еще отлететь от нее.

Но вот она очнулась и огляделась вокруг: все пусто уже, никого нет – один только Вересов стоит рядом и смотрит... смотрит на нее такими грустными, тихими и добрыми глазами. Маша поднялась с пола, кротко улыбнулась ему и, прошептав: «До свиданья», тихо и спокойно удалилась из церкви.

Вересов хотел было что-то сказать ей, но почему-то замедлился так смущенно и нерешительно, затем постоял еще с минутку в самом тупом раздумьи и тоже пошел на улицу.

Куда? Неизвестно! Все по-старому, по-вчерашнему. Впереди предстоит еще целый день бесцельных шатаний по улицам, голода, холода, изнеможенья и отчаяния.

А день только еще начинается.

Таким образом судьба свела и на несколько часов сблизила, и вновь развела и вновь затеряла одно для другого эти два существа – жалкий и грустный плод самодовольно сытого распутства этих высокородивших князей Шадурских, которые, развратничая и подличая, под надежным прикрытием своих гербовых щитов, конечно, и не помышляют о том, что какому-нибудь незаконному их сыну Ивану Вересову придется когда-нибудь красть от голоду, а незаконной дочери, быть может, продавать себя, чтобы не околеть в холодной барке. Добродетельно жуируя жизнью, некогда думать о таких ничтожных вещах, и тем более, что, раз швырнув сколько-нибудь денег какому ни попало воспитателю – лишь бы с рук долой! – эти отцы и матери остаются уже в полном убеждении, что они искупили свою маленькую шалость, что они правы перед этими незаконными детьми, что больше и требовать от них ничего нельзя, что эти дети могут даже и не знать, кто именно потрудился их на свет произвести, и что с ними ни случись потом в жизни – это уже не наше дело, а нам – нам можно вновь развратничать и делать подлости, соблюдая свой нежный родительский долг лишь по отношению к своим детям законным – прямым наследникам нашего герба, состояния и распутства.

X УДАР НЕ ПО ЧЕСТИ, А ПО КАРМАНУ

Молодой князь Шадурский собирался за границу, якобы для излечения от опасных ран – поэтому, конечно, ему нужны были деньги.

Старый князь Шадурский проигрался у баронессы фон Деринг – поэтому ему безотлагательно нужны были деньги.

Княгиня Татьяна Львовна Шадурская обещала своему другу Карозичу заплатить один его маленький долг; княгиня, во что бы то ни стало, должна была исполнить свое обещание, под опасением иначе лишиться его дружбы – поэтому ей точно так же, как мужу и сыну, необходимо нужны были деньги.

И ни у того, ни у другого, ни у третьей денег в наличности не было.

Единственная надежда – как и всегда в подобных случаях – оставалась на Хлебонасущенского. «У попovichа есть деньги, – думал про себя каждый из трех членов сиятельного семейства, – он либо из своих даст, либо откуда-нибудь под вексель достанет».

Поэтому они уже дважды посылали за попovichем, но того все дома не было. Наконец вечером он явился, и явился с физиономией, хранившей солидно-важную опечаленность, словно бы обладатель ее собирался известить о чьей-нибудь родственно-близкой кончине.

Он вошел своей кошачьей, мягкой походочкой, но вошел молча, без улыбочки, даже височков не приглаживая, и поклонился с выражением сдержанной, но глубокой огорченности.

– Наконец-то вы, мой милый, пришли! – воскликнула княгиня с родственно-дружественным упреком. Когда Шадурские чувствовали необходимость в Хлебонасущенском, а тем паче в деньгах, они всегда принимали с ним этот, по их мнению, «подкупающий», родственно-дружественный тон.

– Prenez place!³⁹⁰ – грациозным движением руки указал ему на кресло старый гамен, забывая, что Полиевкт по-французски не смыслит, и в то же время не забыл полюбоваться в зеркало, сквозь одноглазку, на свой пестрый галстучек и откидные воротнички а l'enfant.³⁹¹ *

– Ну, что почтамтские певчие? Что ваши рыженькие шведочки поделявают? – фамильярно приветствовал его молодой Шадурский, зная, что сии два предмета составляют сердечную слабость Хлебонасущенского и потому рассчитывая, в некотором роде, польстить ему своим вопросом. О шведочках же постоянно осведомлялся он еще и в качестве записного кавалериста.

Но Полиевкт Харлампиевич на все эти любезности отвечал только поклонами, отнюдь не изменяя сдержанно огорченному и постному выражению своей физиономии.

«Чувствует, верно, старый плут, к чему клонится дело!» – подумала с досадой княгиня, однако же выразить свою досаду она почла не политичным, а напротив того – изобразила самую приятную, самую приветливую улыбку и необыкновенно мягко предложила ему расположиться в кресле, поближе к ней, потому что надо потолковать о деле.

Но Хлебонасущенский и тут не внял ее сладкому призыву и в кресле не расположился, а ограничился тем, что подвинул несколько стул и сел на него самым почтительным образом, не прикасаясь даже к спинке.

Увы! Такое начало не могло предвещать сиятельному семейству никакого благоприятного исхода; поэтому всех троих незаметно, однако ж очень нехорошо, передернуло.

– Что угодно приказать вам? – безлично проговорил Хлебонасущенский, с сдержанным вздохом и взорами, до полу опущенными.

³⁹⁰ Садитесь! (фр.)

³⁹¹ По образу детских (фр.).

«Ну, уж верно, какую-нибудь каверзу подведет, каналья!» – помыслил молодой Шадурский, и все трое в один голос обратились к управляющему:

– Денег, милейший Полиевкт Харлампиевич! Денег надо! Добывайте денег нам! Дозарезу нужно! Необходимо, голубчик! Крайне! Понимаете ли, крайне необходимо!

Хлебонасущенский паче того опостнил физиономию, и хотя бы слово в ответ! Только еще ниже потупил в землю свои взоры.

– Что ж вы молчите, милый вы наш? Выручайте! Вы знаете, мы ведь отдадим! – снова заговорили Шадурские.

Полиевкт немножко откашлялся и начал тихо, осторожно, внятно, словно бы какую лекцию или проповедь.

– Вашим сиятельствам небезызвестно, – начал он с новым вздохом, – что за последнее время наши дела сильно расстроились, за прошлый и за нынешний год мы должны были сделать несколько новых займов, доходы с имений очень и очень скудны при этом нынешнем переходном состоянии; опять же дело с этою госпожею... с Бероевой, тоже не мало поглотило всяческих издержек – я даже из своих собственных, из последних денег принужден был расходиться на него. Все это, конечно, известно вашим сиятельствам.

При имени Бероевой молодой Шадурский старался неопределенно смотреть куда-то в сторону, а княгиня очень усердно, однако не без грации, расправляла кончиками изящных пальцев пушистую ангорскую бахромку своей легкой накидки, причем взоры ее были вполне поглощены этим занятием. И мать и сын при напоминании им этого имени и этого дела как будто невольно чувствовали какое-то неопределенное смущение: им было не совсем-то ловко. Один только гамен безмятежно поигрывал своим стеклышком, любуясь на лакированный носок своей прекрасной ботинки, да Полиевкт Хлебонасущенский сохранял вполне невозмутимую степенность, словно бы ни на волос не чувствовал за собою ничего такого, что бы могло шевельнуть или поскребсти его совесть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.